

Библиотека  
журнала  
ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ**

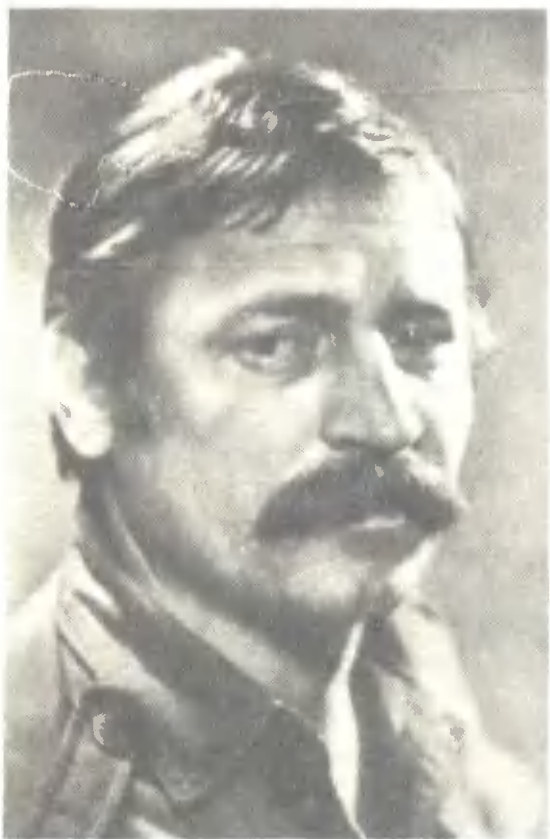
1986.

*Николай ШИПИЛОВ*

# НОЧНОЕ ЗРЕНИЕ







Николай ШИПИЛОВ родился на Сахалине в 1946 году. Учился и жил в Новосибирске. В четырнадцать лет начал трудовую жизнь. Работал плотником-бетонщиком, штукатуром, монтажником, полевым рабочим, артистом оперетты, корреспондентом районной газеты, областного радио и телевидения, телевизионным режиссером.

Рассказы Шипилова были опубликованы в журнале «Литературная учеба», в альманахе «Истоки», «Литературной России», в периодических молодежных изданиях Болгарии.

Он участник VII Всесоюзного совещания молодых литераторов в Москве.

«Ночное зрение» — первая книга молодого писателя.

Николай Шипилов вырос в предместье Новосибирска, и это обстоятельство помогает понять происхождение шипиловских рассказов, а точнее, их обнаженной, этаким стихийной искренности. Следует, видимо, резче и подробнее очертить облик предместья — ведь на его тополевых улочках, в его шумных, «коммунальных» дворах, в его палисадниках с шиповником и мальвами, под его гостеприимными крышами живут герои Шипилова.

Предгородье, слобода, в которых селились крестьяне, мещане, превращаясь в ремесленников, огородников, извозчиков. В наши годы предместья окружают заводы и фабрики, построенные за чертой города, в наших предместьях тоже много бывших крестьян, принесших из сел и деревень привычку к открытой, на виду у ближних и дальних соседей жизни. А город, подчинивший предместье, диктует свой устав: неловко жить так открыто, надо прятать свои радости и горести за стенами квартир, не выставлять напоказ личные, внутрисемейные неустойки и дразги.

Сплав сдержанности и душевной распахнутости, житейской жестокости и рабочей двужильности придал характеру человека из предместья некую взрывчатость, заполошность, при которых вспышки бурной искренности, нежности, доброты гасятся грубоватой шуткой, насмешкой, чрезмерно резким жестом — своеобразными проявлениями стеснительности.

Вот сидят во дворе предместья герои рассказа «Игра в лото»: старик, прозванный Графином, и Александра Григорьевна, бухгалтер на пенсии, медсестра прошедшей войны. Только что закончилась игра в лото, компаньоны Графина и Александры Григорьевны разошлись по домам.

*Продолжение на III стр. обл.*

---

---

Библиотека  
журнала  
ЦК ВЛКСМ



**МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ**

**1986**

---

---

Николай  
Шипилов

Ночное  
зрение

*Рассказы*

Москва  
«Молодая гвардия»  
1986

**Художник Валерий ЗАВЬЯЛОВ**

**Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5а.**

**© Издательство «Молодая гвардия»  
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1986 г.  
№ 4 (215).**



## ПОЕДИНОК

Главный врач М-ской районной больницы Емельянов третий день находился в отпуске, и третий же день по Северному району ходил шатун-снегопад, радуя крестьян и огорчая снабженцев. Зимники стерлись в очертаниях, всякое межхозяйственное сообщение стало беспредметным, лишь телефонные провода провисали от обилия снега, летящего во все закуты угодий.

Емельянов редко отдыхал или болел. И если одно из двух случалось, то зимой, когда он меньше занят хозяйственными делами, ухищрениями по ремонту больничного корпуса, добыванием оборудования, медикаментов, визитами всевозможных комиссий и валом мелкого производственного травматизма. Как всякий много и ответственно работающий человек, он не любил себя больного, но на второй день отдыха на губу выскочила застарелая простуда, температура поднялась, и поманило в постель.

Жена напоила его чаем с малиной, укрыла тепло и запела

что-то веселое на кухне. Было воскресенье, и хоть Емельянову не нравилось смотреть рябые телепередачи, идущие издалека через ретрансляторы, но в это воскресенье очень уж уныло было за окнами и в полях.

Сегодня и телевизор рябил больше обыкновенного, но звук давал чистый, и вскоре дремлющий Емельянов услышал знакомую фамилию, а потом и знакомый голос.

— Алла! — позвал он жену. И когда она пришла, пахнувшая кухонным газом, он поднял руку и указал на телевизор: — Узнаешь?

Алла прислушалась с любопытством:

«...проблема в том, как познать особенности мыслительных моделей, которые функционируют в системе общественных отношений».

— Что за чушь? — спросила Алла. — У меня блины на плите...

— Эх ты! — с сожалением и укоризной сказал Емельянов. — Это же Митя Обьещиков! Не узнаешь?

Но жена уже ушла к блинам, которые очень любил Емельянов.

— Да Митя это! Митя! — Он засуетился, сбросил ногами одеяло и встал на пол. — Где же наш малиновый альбом?.. Ага, вспомнил... Вспомнил...

Он взял альбом и быстро на цыпочках подбежал по зябкому полу к кровати, раскрыл альбом и с умилением стареющего, но не старого человека стал всматриваться в лица институтских товарищей.

«...Развернутое обоснование самооценок встречается только у некоторых студентов...» — говорил Митя Обьещиков, и Емельянов мельком подумал о своем сыне: как он там учится в городе, и снова глянул на экран, где слабо прорезалось изображение: «Митя... Ишь куда подался полководец. В психологи, что ли?»

И ему вспомнилось студенчество и тот случай в стройотряде, который круто изменил линию жизни Мити, да и его жизнь тоже.

...Деревня называлась Поселье и тянулась вдоль пруда и его матери — узенькой речушки — километр восемьсот тридцать семь метров. Эта цифра была точно известна личному составу одного из отделений студенческого стройотряда. Личный состав насчитывал четыре человека, которые и тянули вдоль Поселья нитку водопровода. Лето близилось к концу и несло с собой дожди и плохие перспективы на «аккорд»: работу рассчитывали закончить за месяц. Это был рекордный, но реальный для четверки срок потому, что Митя Обьещиков придумал интересный пресс для сварки полихлорвиниловых труб, простое и удобное сооружение из двух старых кроватей. Он же, голован, разработал не придуманную ни одним институтом технологию сварки пэжэвэ: брались два квадрата нержавеющей стали двадцать на двадцать сантиметров — «блины», к ним приваривались ручки и обматывались ветошью, чтобы не горела кожа ладоней, когда Митя нагревал эти «блины» паяльной лампой. Самое сложное было определить температуру, при которой происходит сварка намертво, но у Мити оказалась поразительная интуиция: раскалив «блины», он подносил их поочередно к правой щеке. Если они были достаточно, по его мнению, раскалены, то Емельянов плавил ими концы труб и стыковал их в прессе. Трубы можно было сломать, да не по шву. Это значило, что на глубине траншеи, под трехметровым слоем глины, по швам не будет свищей.

В бригаду приезжали специалисты из какого-то НИИ, осматривали тридцатиметровые плети труб, восхищались, описывали.

И с трассой не было бы забот, но траншеекопатель, а попросту траншейник, вел себя и трассу с хитрецей. Дело в том, что когда его везли в Поселье из районной Сельхозтехники, то на дамбе с платформы тягача он свалился в пруд. Емельянов еще острил по этому поводу: жара, дескать, все хотят купаться. И после того, как мощный «Кировец» вызволил своего собрата из бучила, тот стал чихать, глохнуть и ронять траки через каждый десяток метров. Тракторист, которому некуда было спешить, поскольку он жил в колхозе и получал свою зарплату по какой-то сетке, невзлюбил траншейник, называл его бараном, грозя спустить с крутой горы. Тракторист покуривал, а Митя Обьещи-

ков, физически не очень сильный человек, ежедневно долго и устало махал кувалдой, чтобы поменять крепезные пальцы на траках.

Иногда траншейник вел себя так, будто хотел спрятаться от срама и усталости, от побоев тракториста. Он самозакапывался, роняя землю рядом с транспортерной лентой, и ее приходилось отбрасывать лопатами тому же Мите и еще двум ребятам. Емельянов клал колодцы и занимался сваркой плетей, но глядя, как Митя проливает пот, засовестился и предложил меняться работой через день.

Объециков, считавший трассу своей кровной, работал зло и на предложение Емельянова только фыркнул, мол, каждый знай свой маневр.

Тогда Емельянов воспользовался правом старшего в бригаде и все же дал Мите отдых. Траншейник вскоре встал намертво у дома маляра Корнилова. Вокруг этой точки и развивались дальнейшие события.

В доме Корнилова размещалось большое семейство: он сам с хозяйкой и восемь сыновей-погодков. Из города их пригнала нужда, они были переселенцы через облисполком. Таким людям легче прописаться в деревне и получить дом с огородом и сарай с коровой, чем вписаться в картину давнего сельского быта. Они долго остаются чужаками, не умеют вести хозяйство. Их кабачки плохо растут, корова отбивается от стада, собаки задирают глупую домашнюю птицу соседей, а заготовленное на зиму сено раздувает ветром. Но Корниловы не за добром приехали — детей поднять. Сам маляр — только звался так в деревне, а работать мог и печником и кровельщиком. На ужин жена его Нина скликала сыновей с крыльца дома:

— Ванька, Ганька, Витька, Алешка-а-а-а!

Потом набирала воздуху в огромную грудь и снова:

— Минька, Гринька, Колька, Толька-а-а!..

Они сбегались, красноногие и белоголовые в отца, с лицами испачканными, как школьные промокашки. И всем, кто слышал это ее вечернее пение, было отчего-то радостно, кроме, наверное, пары, живущей напротив с одним сыном, Владиком.



Их фамилия была Ховрины. Его в селе звали «зоотехником» и всю семью «зоотехниками». Ховрин писал кандидатскую, ходил по селу багровый и чрезмерно мрачный для своих неполных тридцати лет. Он пинал разлегшихся вдоль оград и поперек улицы тучных свиней и багровел еще сильнее, когда свиньи, разморенные жарой, даже глаз не открывали в ответ на пинки, только миролюбиво, блаженно взвизгивали во сне. Видимо, он считал себя временным человеком в этих забытых географических издательствах мест. Мать его ребенка работала кем-то в бухгалтерии и во многом подражала мужу. Проходя мимо работающих студентов, она монотонно поругивала невесть откуда свалившуюся на село траншею, куда по ночам, в свою очередь, падают овечки, свиньи и пьяные. Однажды Митя пытался объяснить ей благое назначение будущего акведука — она показала ему толстую спину, желая, чтоб разговор и впредь шел в одностороннем порядке.

— Дура, а красивая,— сказал для подначки Емельянов.

— У них в сенях насос и скважина,— пояснил Минька Корнилов, второй по счету сын маляра.

Миньке было, наверное, лет одиннадцать. Он рыбачил, ловил сусликов, косил серпом траву для кроликов, хотел очень завести голубей, но вместо этого ему нужно было вместе с матерью и братьями работать на огороде. Когда кончались домашние дела, он бежал к Мите Обьещикову на колодец. Здесь он подтаскивал кирпич, накладывал горку высоко, так, что только его старую военную фуражку с околышем и было видно. Чем они с Митей понравились друг другу, Емельянов тогда не знал, а сейчас задумался.

«...И глубоко ошибается психолог, который хотел бы понять личность только на основании ее прошлого...» — услышал он Митин голос и подумал: «Во дает!» Затем снова окликнул жену, она пришла и вопросительно смотрела то на Емельянова, то на телевизор.

— Ты помнишь того малярова сына? Ну который около Мити-то все крутился?..

— Которому он велосипед-то подарил? Помню: Минька.— Она держала влажные руки на весу и всем видом показывала, что ей некогда.— А что?

— Думаю, почему это они так дружили?

— Дети оба... Ты бы вот почитал лучше что-нибудь легкое. Разве это можно слушать? — Она кивнула на телевизор, который выдавал:

«...отвечая на него, мы получили формулировку, которую определили как мотив, но знание мотива позволяет оценить деятельность только с моральной и правовой точек зрения...»

— Да это же Обьещиков!

— Никакой это не Обьещиков...— донесся с кухни голос жены.

Тогда, в стройотряде, Емельянов легонько подтрунивал над привязанностью Мити к семье маляра и к Миньке. Когда бригада водопроводчиков и девушки из их института, работавшие на уборке льна, шли к пруду купаться, то Митя с Минькой плелись далеко позади, и раздевался Митя в отличие от группы только у самого пруда. Он считал, что хождение под окнами в банном виде — это неуважение к деревне.

— Да ты просто хилак,— сказал как-то Емельянов.

Минька заступился.

— У тебя голова пустая, а язык длинный,— сказал он Емельянову.— Твоим языком только мух ловить на болоте...— И цыкнул слюной сквозь зубы, потом хлопнул кепкой оземь, то есть разделся, и нырнул с разбегу так далеко, что девушки зааплодировали и развеселились. Не смеялся только Обьещиков. Он не спеша разделся и тоже нырнул вслед за Минькой.

«Кто вот меня за язык тянет?» — смеясь, думал Емельянов и отчего-то завидовал Мите. Тому, что он ходит в дом маляра и потом рассказывает поварихе Алле, их однокурснице, о том, как маляр читает вслух книги младшим детям. А читает он,

говорил Митя, серьезно и трогательно. В каких-то местах останавливает чтение и смотрит в начало книги. Если там есть фотография автора, то Корнилов и дети за ним проникновенно глядят ему в глаза, будто хотят узнать: что стоит за этим человеком? И Алла слушает Митю по вечерам, в то время как Емельянов острит непрерывно и все смеются так, что едва не гасят костер. Острил, демонстрируя свое нарочитое пренебрежение к Алле.

Вечерами у домика старой аптеки, где жили стройотрядовцы, горел костер и гитара не умолкала допоздна. И трудно было уйти от костра. Не пугали ни грядущие дожди, ни утренняя побудка с разнарядкой.

Однажды Емельянов решил уйти с Аллой за село, в плотную темень за погостом, к стогам скошенного разнотравья. Алла мирволила ему, но не более. Деревенский погост, как казалось Емельянову, должен стать его помощником в осуществлении задуманного плана покорения Аллы. То есть главное — уйти с ней в темноту заколицы через погост, а обратно она одна идти побоится, если он, Емельянов, закатит сцену любовного ослепления.

Когда шли намеченным маршрутом, Алла позизгивала и жалась к сильному плечу мужчины. Остались позади редкие огни деревни, становилась ощутимой степная сырость на земле и в воздухе. Непрестанно остря, чтобы как-то скрыть серьезность намерений, Емельянов высветил фонариком стожок, где и присели, надергав сена. У Емельянова кончились шутки, а пауза была неловкой и отрезвляла. Чтобы хоть что-то делать, хотел закурить, но не нашел в кармане зажигалки.

— Ты не заморозить ли меня захотел, бригадир? — сказала Алла и подстегнула этим Емельянова. Он открылся:

— Мы пробудем здесь до утра...

Он сказал это твердо, как победитель. Тогда он еще думал, что женщину можно победить. Алла смеялась, когда он обнимал ее, смеялась непокорным смехом, обидно-презрительным. Емелья-

нов же ждал покорности, восторгов и томного шепота, а смех осаживал его норов. К тому же стало прохладно, а в траве и стогу слышались резкие, живые шорохи. На один такой шорох Алла отозвалась:

— Это змеи! — Она вскочила, гадливо стряхивая с себя что-то, может быть, следы емельяновских объятий.

Он сдержал боязнь и медленно встал на затекшие ноги, говоря, что район болотистый и страшно за командира стройотряда: конец карьере, если здесь завтра найдут двух мертвых влюбленных.

— Что это ты о любви говоришь? — грустно сказала Алла. — Забудь... — и пошла чуть впереди, не боясь, не ища его мужского плеча.

Соприкоснувшись с ней, Емельянов со страхом понял, что ничего не может открыть, что он мальчишка перед ней, и это взбесило его. Но он был умным парнем, промолчал, зная: все еще впереди.

Глаза его напрасно всматривались в темноту: он обнаружил, что оставил у змеиного стога фонарик — иголку, которую уже не сыскать в ночи. Брекали недружно собаки. Не поймешь: справа ли, слева? А может, издевалось эхо, но пошли на этот лай, и Алла тихонько ахала на колдобинах. Емельянов шел, приседал, надеясь понизу увидеть кресты того погоста, потом понял, что на фоне березового массива их не видно. Емельянов оступился, выругался и сказал громко:

— Да!.. Тут нужно иметь совиное зрение!..

— Или змеиное... — ответила Алла.

— Твари... Не напоминай мне о них. — Емельянов был обнадёжен тем, что Алла вступила в разговор, и его окатило волной благодарности. И тут она ему сказала:

— А ведь в сене шуршали мыши... — И весело, захлеб засмеялась. — Мыши! — резанула она по живому и добавила: — А Митя бы не испугался!..

— Иди же ты к своему Мите! — И Емельянов бешено зашагал наобум. «Погоди, змея», — зло и весело думал он. Он пел и насвистывал, шел то на звезду, то снова наобум и наконец



увидел силуэты нового коровника и зерносушилки, которые строили их же студенты. В легком восторге он поспешил к селу и тут услышал не то скорбный плач, не то пьяную песню. Он присел и определил, что ночь привела его к старой кузне с разметанной крышей. Внутри кузни причитал мужчина. Но когда на плач тише, чем сквозняк, влетел Емельянов, его спросили жестко:

— Эй! Кто там?

Потом некто высморкался, ругнулся тенорком и пробормотал, что спрятаться негде. Сквозь крышу старой кузни глядели звезды, и на полу виднелись очертания металлической рухляди и бухты проволоки. Навстречу Емельянову поднялся маляр Корнилов, худенький белан с блестящими в темноте глазами.

— Это я,— сказал Емельянов.— Спички не найдется?

Маляр подошел поближе:

— Ты, Дмитрий? Ты меня, что ли, искал?

«Опять Обьещиков»,— подумал сухо Емельянов и сказал:

— Нет, я не Дмитрий. Я — Лжедмитрий...

— А-а! Емельянов,— узнал маляр и судорожно вздохнул: — Чего ты? Митя, что ли, послал?

— А ты чего тут воешь? — спросил Емельянов.— И луны, кажется, на небе нет... Спички есть?..

Закурили. Маляр от первой же затяжки закашлялся, утер слезы и оправдался:

— Я ж не курю. От куренья рак бывает...

— Да ну? — притворно удивился Емельянов.— То-то я смотрю, друг Дмитрий тоже не курит!

Маляр вроде и не понял юмора, а продолжал:

— Рак свалит меня и детишек свалит... А выл-то я из-за обиды... Ну, хорошо, Емельянов: прибыли мы сюда всем гамузом. Сыновьев поднять надо? Надо. А кормиться здесь легче. Приехали. С народом обзнакомились — хороший народ, трудовой. А зоотехник со своей супругой невзлюбили моих ребят, нищими нас считают. Ладно: богатому дарят, а нищему дают. Да я-то ничего не знал, а дети молчат. А седня у Владика Ховрина день рождения, он и пригласил моего Гриньку. Играют же они вместе... Гринька пригласил, само собой, Миньку, Минька —

Кольку, Колька — Витьку, ну? Дети. Они и подерутся и помирятся, им радости охота... Вот ты умный человек — врач, скажи?

— Правильно,— сказал Емельянов.

Но маляру и эти слова были ни к чему, он говорил Емельянову, как до его прихода говорил проволоке и звездам над кузней.

— А зоотехникова жена их и на порог не пустила! Вместе с ихним подарком! — Теперь уже Корнилов склонил к студенту свое белое лицо, растерянное в ожидании правды.— Как так мы, люди, должны с детьми поступать? Мы что? Мы проживем... Помрем после, а детям на свете надо по правде жить, на нее равняться. Вот и думай: то ли от них все звериное прятать, то ли зверенышами их воспитывать... Хорошо вот, много их, а если б один? На кого его оставлять, скажи?..

Емельянов пробормотал что-то сочувственное о хороших людях и выродках, понял фальшь сказанного и в который раз за вечер подумал, что беспомощен перед людьми, что надо совершать поступки, а не говорить. Ему захотелось тоже ослабеть и поплакать с маляром о своем горе, но он зевнул только нервно и сказал маляру:

— Шел бы ты домой, дядя. Ищут тебя ведь, наверно, всей оравой...

— Нет. Я сказал, что на рыбалку двинулся... Пусть спят.

— А жена не чувствует?

— Э-э! — скривился маляр.— Она за день так ухайдокается, что...— Он не нашел слов и только слабо махнул рукой...

«...Материальная, бытовая сфера существования личности формируется в результате сложного стечения обстоятельств. Определение потребности выдвигает ряд затруднений практического характера, тем не менее это необходимо для выяснения закономерностей процесса...» — наяривал Митя по ящику, и Емельянов с некоторой неприязнью заметил, что думает под телевизионную дудку в данный момент и что через столько лет Митя настиг его в этой деревеньке, и снова ощутил он его превосходство над собой.

— Врешь, не возьмешь,— сказал он, глядя на Митину фотографию в малиновом альбоме. «Помнишь то утро?» — хотелось спросить Емельянову.

Когда он подошел к домику общежития, Алла уже растапливала уличную печку, а на крыльчке сидел Обьещиков в накинутой на плечах штормовке. Он слегка подвинулся на крыльце, заранее пропуская Емельянова, запирающего с улицы калитку. Но Емельянов встал перед ним.

— Доброго утречка,— пожелал Емельянов.— Как спалось?

— Не спалось.— Обьещиков сказал это и повторил: — Не спалось...

— Маляра искал? Бедного, униженного, оскорбленного маляра!

— Искал,— вставая на приступках, ответил Обьещиков.— Аллу, а не маляра...

— Нашлась Алла? И где ж она была? Э-эх! А еще спортсменка, активистка!..

— Нашлась. А почему я должен был искать маляра?

И до сих пор не знает Емельянов, почему он отвел Митю за угол и рассказал о случившемся у Корниловых. Может, хотел, чтобы Алла подумала, что парни пошли драться, и как-то выказала свои чувства. А Митю как пчела ужалила: он сорвался с места и направился за ограду, на ходу понадежней натягивая штормовку.

— Что ты ему наговорил? — хулиганисто спросила Алла, моя под умывальником руки.— Не зря Минька про твой язык сказал!..

— Да его в военкомат вызвали! — не меньше удивленный Митиной поспешностью, ответил Емельянов.— Там таких не хватает... психов!..

С утра зарядил дождь, работы не было, и Емельянов спал до полудня. Потом он смотрел в серое окно и видел, как подходил к одному из колодцев Минька и бросал туда камушки. Потом Минька полазил по ископанному траншейнику, почистил морковку осколком стекла и удалился. Емельянов думал, что никогда

не смог бы жить в деревне, ни за какие шанежки. И еще не знал, что Аллу распределят в Северный район, а он, доведенный любовью к ней до потери остроумия, кинется вслед; что уже не нужно будет водить ее за погост и все пойдет своим счастливым чередом. Он еще не знал тогда, что Митя подрался с зоотехником, и тот, мужик здоровый и уважающий себя, сильно побил Митю. Об этом сообщил комиссар, приехавший к вечеру на грязном мотоцикле с главной усадьбы. Комиссар сказал, что Митю увезли в больницу, и дело, наверное, удастся не доводить до суда, поскольку на зоотехнике нет ни единой ссадины. Но за то, что Митя затеял драку, ему придется ответить в институте.

Митин водопровод сдали без него и с отличной оценкой.

Алла пыталась бегать к нему в больницу, потом ездила уже из города на электричке. Но Митя не принял ее, не простив прогулки с Емельяновым, и она долго ненавидела Обьещикова.

Когда он забрал документы из института, никто как-то не заметил. «Слабак», — подумал тогда Емельянов. «Но почему же, — думал он теперь, — меня так затянула борьба с этим слабаком? Почему он так повлиял на течение всей моей жизни?.. И теперь он не ниже, чем доктор наук, а я сельский врач и доволен этим. Да, доволен...»

«...В работах зарубежных психологов подробно и достаточно популярно рассматривается вопрос о роли общественной значимости индивида в процессе выбора мотивов...» — говорил человек из телевизора, когда Емельяновы ели горячие блины с медом и спорили: Митя — не Митя сыплет словами.

Потом постучали в дверь с улицы, вошла снежная баба и заголосила:

— Ой, хорошо, ой, хорошо, что вы не в отпуске! Ой, скорей, скорей! Ой, спасите! Ой, помогите! Ой, вас ждут в больнице!..

Емельянов оделся, вышел на заснеженное крыльцо, под теплый проливной снегопад, посмотрел на небо, как со дна океана, и подумал: «А ведь я здесь жить буду и умру...»



## НА ПОЧТЕ ЗИМОЙ

Ее звали Аня Арентова. Когда она явила себя городу, ей было почти восемнадцать.

Город не подавил ее своей огромностью: все это она видела в кино, а жизни совсем не боялась. Сельцо, где жили Анины родители и брат, сохло в бескрайней зоне степей и наводило ее на раздумья о красивом зеленом мире, в котором ходят парни с гитарами и шутят с девушками.

В приемной комиссии одного из институтов города лежали ее документы, но она знала, что не поступит. А иначе кто отпустил бы ее из дому, если мать называла ее только солнышком, а отец — певуньей.

Дома ее хорошо проводили в новую жизнь. Мать заплакала, отец прикрикнул на мать, а брат попросил присылать жевательную резинку, но тут же передумал и сказал ей на ухо, что хочет живого попугая.

Потом она ехала к железной дороге на агрономовском «газике», который шофер называл пылесосом. Пыли на дороге действительно лежало много, и когда они обогнали одинокого мотоциклиста, он грозил кулаком вслед «газику», захлестнутый штормовой волной пыли.

Аню везли через деревни.

Деревенские дети сидели у своих домов в бочках с водой и с интересом смотрели на проезжающих: едут!.. Куда и зачем едут взрослые чужие люди? — было написано на их лицах, подвяленных степными морозами и суховеями лета. «Еду...» — жалая их отчего-то, думала Аня. Она клонила на грудь голову. Лицо

укутано было платком по самые глаза, ее долил сон, и казалось, что в поезде у вагонного окна позвякивают бутылки с прохладной колючей газировкой. Так было в детстве, когда отец возил ее в Трускавец. Сейчас звякали ключи под шоферским сиденьем, но Аня уже спала в прохладе.

Она села в поезд, и старый шофер пожалел, что из села уезжает самая красивая девушка. Он знал, что в городе таких много.

В городе у троюродной бабушки Пинджужковой дверь походила изнутри на стенд какого-то музея замков. Она много лет вдовствовала и боялась грабежей. Бабушка курила, поставив ногу на специальную скамеечку и упершись локтем в колено.

— Эх, Анька, Анька! — говорила она. — Нет бы, чтоб за землю-то крепче держаться... Туда же — в институт наладилась! Говорила я тебе: не поступишь, вот по-моему и вышло. — Она пускала дым колечком. — Или бы на БАМ уехала... Там и замуж можно устроиться, и деньги будут. Что вот ты думаешь своей головой?

— Я, бабушка...

— Ты не бабушка... Тебе до бабушки еще ой-ой-ой... Вот пока не бабушка-то, и поезжай. Романтики хватанешь. Я-то в твои годы... А ну тебя! — и махала рукой.

Аня знала, что в ее годы бабушка была замужем за полковником артиллерии, смотрела бабушке в передник и думала о своем. О том, что нужно найти работу и вечерами ходить в музыкальную школу для взрослых.

Она не боялась жизни отчасти потому, что не представляла себе реальных ее опасностей, а еще потому, что была не из трусливых, и ей хотелось событий, где она была бы центральной фигурой. Например, она могла бы попасть в массовку на киносъемках, потом режиссер заметил бы ее и... Или можно заняться фигурным плаванием. То есть не фигурным, а синхронным. Потом интересные поездки и, может быть, заграничные. Это жизнь. А что БАМ? Чем он отличается от ее деревеньки по составу людей? Она об этом-то и думать не могла всерьез.

К осени бабушка стала совсем простой в обращении с Аней. Однажды она сказала:

— Ну что, Анька? Погостила ты у меня хорошо, пора и домой...

Аня уже успела полюбить этот дом, полный старинных книг, и никуда отсюда идти не хотелось.

Когда Аня устроилась работать дворничихой в окраинном районе города, ей дали комнату в двухэтажке из шпал, но она стала чувствовать неприязнь толстой домоуправши по прозвищу Дюймовочка. Аня была терпелива, уважая прошлое Дюймовочки, в котором та была спортсменкой, и, когда она обращалась к ней не иначе как «красавица», Аня говорила: «Вера Игнатьевна». По утрам весело чистила снег, не отвечая на заигрывания прохожих, а на уроках музыки замечала, что преподаватель слишком уж нежно прижимает ее пальцы к струнам на грифе.

Однажды у водосточной трубы на наледи упал старичок из кооперативного дома и сломал руку. Гнев домоуправши обрушился на Аню. Она кричала, что нужно или работать, или на гитаре балбесничать, или чистить помойки, или мужиков с палталыку сбивать, и многое совсем несправедливое. Аня и сама хотела оставить гитару: научилась брать три аккорда — хватит. К тому же преподаватель стал прижимать ее пальцы к грифу все больше и ожесточенней.

После разговора с Дюймовочкой Аня плакала и долбила наледь под водосточной трубой. Она смотрела на красные лапки голубей, что грелись на крышке колодца теплоцентрали, и они казались ей похожими на красную степную траву, которая растет по местам, где гуртуется скот. Тут к ней подошел маленький мальчик, он вел за собой танк на веревочке. Мальчик сел на корточки, снизу посмотрел на Аню:

— А я знаю, как тебя зовут!

— Как? — не поверила Аня.

— Аня, — спокойно и точно сказал мальчик.

— Правильно! — удивилась Аня. — А ты откуда знаешь?

— Там, где мы раньше жили, тоже Аня была дворница.

Аня огорчилась отчего-то, но не захотела, чтоб малыш это понял. Она спросила:

— А где вы раньше жили?

— Под Нарвой,— с грустью ответил мальчик. Его танк стоял, уткнувшись стволом в ледышку.

— Скучаешь?

— Нет,— и малыш отрицательно покачал головой, отчего кроличья его шапка съехала на лоб.

Аня поправила ему шапку и сказала:

— А жевательную резинку ты любишь?

— Да! — сурово ответил он и повел танк дальше.

Тогда Аня впервые остро ощутила свою оторванность от старого дома, ей захотелось заплакать, но она уже знала: чтоб не плакать, нужно работать. «Проклятый лед! — думала она.— Выучилась! Бедный ты мой папка... Дура твоя дочь! Дурица!»

Теми же днями к Ане подошел чернобровый парень с обгоревшими румянцем щеками. Он был красив, высок и самоуверен, вечерами разгуливал по проспекту с разными девушками, а летом Аня видела его в форме морского пехотинца. Только такого Аня и могла полюбить, сдерживая страх.

— Трудно жить красивой? — спросил он с широчайшей улыбкой.

— Проживем,— Аня не прекратила работы, только стала делать ее бестолковей.

— Дай-ка мне топор...

— Это не топор, а пешня...

— Дай! — сказал он и неумело, сильно стал долбить. Но вскоре устал и полез в кожан за папиросами, говоря: — А почему это у тебя по ночам свет горит? Ты же комсомолка, а за экономию электроэнергии не борешься...

— Читайте,— ответила Аня, отгоняя от лица клубы дыма и уже не в первый раз удивляясь людской осведомленности.

— Нет,— сказал парень,— неправда. В той комнате до тебя жил старик, он умер летом. Так? И ты боишься темноты...— И он так здорово расхохотался, что Аня не смогла рассердиться,



а поразились: умный такой и красивый. Тогда она тоже задала вопрос:

— А почему ты в форме летом расхаживаешь?

— Перед демобилизацией приезжал сдавать вступительные, да ума не хватило, — серьезно говорил парень. — Неспособный я к наукам. Дефективный. — Он с горечью затоптал окурок, потом глянул на Аню, подобрал окурок и спрятал его в спичечный коробок. Она ответила ему теплым взглядом.

— Я по два года в каждом классе сидел. Как и ты...

— Я? — Аня погрузилась. — Я хорошо училась.

— Так и я хорошо! — горячо заговорил парень. — Меня Слава зовут... Но выскочки кругом: руки тянут! И мне хороших отметок не хватало. Не могут же их всем ставить, правда?..

Аня увидела возле противоположного угла дома домоуправшущу, испугалась, потянула к себе пешню:

— Уходи скорей! Дюймовочка меня съест!..

— Я к тебе вечером в гости приду, — пообещал Слава.

Она ждала его всегда, а он приходил редко. Занятно говорил о любви и верности. Все у него было просто и легко.

Аня набралась смелости и спросила однажды:

— Скажи: зачем ты ко мне ходишь? Хочешь исковеркать мою жизнь?

— Да разве это жизнь? — хохотал он, делаясь еще красивей.

Аня рассердилась:

— Уходи. Я больше не буду тебя пускать.

Слава обиделся и ушел среди ночи. Она же не спала до утра, ревновала и боялась, что на него нападут хулиганы, испортят лицо.

Он не приходил с неделю. Потом пришел мрачный. Долго молча перебирал гитарные струны, пел песни без слов, пока не сообщил, что пришел попрощаться перед отъездом на БАМ.

— На БАМ? — Аня обрадовалась, что он заговорил, и огорчилась, вспомнив бабушку Пинджуккову. — А зачем?..

— А зачем вот вы в города летите, как бабочки на мед? — зло спросил Слава.— Чего вот ты хочешь достичь?..

— Мухи, а не бабочки,— растерянно поправила Аня.

— Тем паче,— поморщился он.— Летите из своих деревень, глупые... А как выжить-то, не знаете. Вот тебе мой новый адрес — приезжай. Будем строить магистраль и совместную жизнь.

В эту ночь он остался в комнате подавленной Ани.

В эту ночь дом загорелся.

В двери Ани стучались соседи по квартире, звали ее, а она плакала, думая: увидят его, увидят!..

Все стояли и смотрели, как ухнула в небытие половина двухэтажки, как суетятся молодцы-пожарные, как Слава, поливаемый водой из шлангов, бежит в огонь и вытаскивает на улицу Анин скарб, как он стоит рядом с ней и смеется, зажав под мышкой медную чеканку. На его пальто звенели ледяные медальки. И Аня решила доказать этим ротозеям, следившим за ее личной жизнью: нате, смотрите. Она попросила Славу:

— Дай мне сигарету! Все пялятся, как...

Он дал сигарету и, не прощаясь, ушел во тьму декабрьского утра.

Погорельцев временно разместили в частных домах. Два дня Аня ждала, но он не пришел. На третий день Аня пошла к бабушке Пинджукковой и все ей поведала. Та повертела в пергаментных руках записку с адресом:

— Эх, Анька, Анька! Думаешь, ты одна такая дура? Собирайся, дуреха, поезжай и найди его и выйди за него замуж! Там, на БАМе, жизнь, там школа. А дворником комсомолке — срамотища! Э-эх, дура.

И напекла пирожков Ане на дорогу, но дорога оказалась не такой скорой, как предполагала бабушка. Нужно было рассчитаться с домоуправлением, сдать инвентарь, получить расчет. И пирожки были съедены на месте.

Потом Аня Арентова ехала в поезде Москва — Владивосток по указанному Славой адресу. И если бы ее спросили, зачем она едет на БАМ, то она ответила бы, что за Славой.

Поселок, куда приехала Аня, находился почти в ста километрах от столицы Центрального участка БАМа. Магистраль ушла далеко вперед, а пристанционный поселок еще строился, омолаживался. Огромные автомобили возили песок к растворному узлу, но того, кого искала Аня, среди шоферов не нашлось. Аня съездила на речку, где черпал песок «драглайн», но там машинистом был пожилой Слава.

Заведующая почтой ушла в декретный отпуск, и Аня временно оформилась на ее место. Она надеялась, что от Славы придет какая-то весть, в тощих пачках писем мелькнут его имя и фамилия.

Днем Аня сортировала и разносила письма, оформляла заказы на междугородные переговоры, штемпелевала бандероли, а вечерами в своей комнатке тут же, при почте, читала свежие газеты, чувствуя себя причастной к огромной стройке.

Три раза в неделю регулярно ходила в клуб на репетиции, где играла на гитаре и пела туристские песни. С появлением Ани клуб стали навещать молодые парни и старались превзойти один другого в озорстве и одаренности. Когда один из них попытался въехать на высокое крыльцо клуба на кобылице, запряженной в кошеву, Аня отхлестала лихача его же кнутовищем. Здесь она чувствовала себя уверенно. Здесь начиналась ее новая взрослая жизнь. Жизнь нужного человека.

Вот приходит на почту бабушка Тая. Когда-то белая береста ее лица к старости стала коричневой корой, но, глядя в ее ясные глаза, Аня легко представляла ее молодой. Эти глаза словно омыты утренней росой. Аня знает, что бабушка Тая ждет известий от своего бывшего квартиранта Сереги Шапкина, но делает вид, что не за тем пришла, да обмолвилась. Тянет бабушку к домику почты, как курильщика к табаку. Серега жил у нее три года, уехал жениться и пропал. А она привязалась к Сереге, ждала внуков: квартирант был сиротой, но сиротой веселым и задиристым. А бабушка Тая веселье в людях любила.

— Что пришла, бабушка? — спрашивает Аня из-за стойки, а руки продолжают сортировать стопочки писем.

Согбенная старушка поздоровается со всеми и выложит:

— Да лезешь к нему, к счетчику-то етому, лезешь... Пишешь километры-то эти, пишешь...

— Киловатты...— поправляет машинально учительница начальных классов Федосья Петровна.— А впрочем...

— Киловатты ли... Кто их знает? Вот был Сережка-то, губошлеп-то кучерявый — вот и жись была...

Пока бабушка Тая ищет в карманах плюшевой жакетки расчетные книжки, ее собака обнюхивает людские ноги. Их обычно пары две-три. Тут и унты Григория Куликова, ехидного старика. Он говорит:

— Ты, Таисья Ивановна, колдунша старая, смотри!.. Ежели твоя булька щас возьмет, пра, да меня за лытку-кусъ — я на тебя в товарищеский суд петицию подам!

— Она у меня в нашейнике,— миролюбиво оглядывая присутствующих, отвечает бабушка Тая.— Пошто ей погано-то мясо кусать? — и мелконько смеется.

Неизвестно почему радуется Федосья Петровна и спрашивает учительским голосом:

— А при чем здесь ошейник? Намордник надо собаке!

— Собаке и так муторно живется,— снова смеется бабушка Тая.— А меня, пенсионерку, кто защитит? — Она берет варезки в зубы, а двумя руками несет к стойке свои бумаги. Кладет все на стойку и продолжает: — Пенсионерки никому не нужны. Сама-то теперь уж не отлаюсь — собака нужна на такого, как вон Гришка Куликов.

Григорий мужественно, мудро глотает обиду:

— Ага... Ну, сказать, и черти эти девки зареченские: еле одна от пятерых отбрехалась! — и орлом глядит на учительницу.

Аня смотрит расчетные книжки и выясняет, что у бабушки трижды уплачено за январь месяц.

— У тебя, баб, еще остаток по деньгам! — говорит она.

— Ну,— сдержанно радуется та.— Я помню: две пензии не платила, а потома-ка сразу денежку и отдала...

И Аня вдруг говорит:

— Я к вам буду приходить в конце месяца и снимать показания счетчика. Хорошо? Не прогоните?

— Уедешь скоро...— внимательно поглядев на Аню, говорит старая.— А приходить — приходи. Квасом напою. Женишонка-то не нашла тут, стало быть, уедешь скоренько...

— Не уеду,— отвечает Аня с верой в свои слова.

Бабушка идет к выходу, оборачивается в дверях и говорит Ане:

— Переходила бы, девка-матушка, с почты ко мне... У меня, хоть и прохудилась крыша, а не каплет. Я и сварю, я и сказку скажу... Не бойсь, Аннушка, чужедворкой не будешь... Подумай...

Григорий Куликов откашливается, чтоб съязвить, но Аня говорит назло ему:

— Хорошо, я подумаю.

Потом учительница листает толстый справочник городских индексов, а Куликов смотрит в окно. Оба они пенсионеры, им скучно в домах, а почта для них как клуб.

А зима идет к концу неделя за неделей. И вроде бы эта жизнь ничем не отличается от той, степной: тут поселок — там село. Тут простые люди и простой говор — и там. Молодость ее искала крупных перемен и больших сравнений, умом она сопротивлялась этой своей нынешней жизни, а душой чувствовала, как взрослеет. Менялись ожидания, ей уже нравилась тайга, близкие гудки рабочих поездов, и она писала домой нечастые, но длинные и нежные письма. Лицо Славы затерялось в памяти, стерлось, и она уже не знала: так ли хочется слова видеть его, как прежде.

В первый понедельник апреля появился Слава и по-деловому, не давая себе удивиться, спросил:

— Ты что, уже здесь?

— Здесь,— подтвердила Аня, не представляя: что же нужно делать.

— Даешь, подружка,— слегка озадачился он.— Ну? И куда я с тобой? У меня ни кола ни двора. Вот,— он достал при-

щепку из кармана кожанки, — только прищепка! Как она ко мне попала — не знаю...

— А ты меня ни с кем не путаешь? — В Ане росло сопротивление силе, которая снова и мощно врывалась в ее новую жизнь. — Похоже, путаешь...

Он пощелкал прищепкой:

— Брось ты!

— Что: брось?

— Не надо. Будьте проще с коллективом. Ты ведь Аня?

— Кто это тебе сказал? Читай. — И она повернула к нему табличку с фамилией своей предшественницы. Он помолчал, покосил глазом на табличку и отчего-то покраснел. Потом сказал:

— Виноват... И все же я не верю, что...

— Надо верить, — увещевательно посоветовала Аня. — Надо.

— Да? — Он смялся, будто налетел на свое отражение в зеркале, потер лоб и купил три авиаконверта. А ушел не обернувшись, как тогда, после пожара.

Что удержало Аню от оклика? Наверное, гордость существа, осознавшего себя человеком. Срочно, срочно нужно занять себя. Сию же минуту. В окне двигалась, уменьшаясь в размерах, фигура Славы. Хотелось броситься вслед. «Но это невозможно, — думала Аня, — если захочет, придет еще. С другими словами. Подожду, как бабушка Тая». И она вспомнила бабушку и квартиранта Шапкина. По телефону через справочное Новосибирска она нашла его адрес и вызвала на переговоры вечером следующего дня.

В этот вечер взбунтовалась зима, показала свою силу метелица. Она выла в печных трубах, сдувала звезды с неба, рвала линии улиц и превращала их в пунктиры. Аня боялась, что связи с Новосибирском не будет. Но Шапкин отозвался.

— Ты кто? — спросил он.

— Я звоню тебе, чтобы узнать: приедешь ты к бабушке Тае Сомовой или нет? — Аня пыталась представить себе этого Шапкина.

— А ты кто? — На линии ежесекундно возникали помехи,

приходилось кричать, будто от этого станет лучше слышно. И Аня кричала, делая ладошку рупором:

— Я — начальник почты, слышишь? А-рен-то-ва!

— Ну и фамилия: Арентова! А сколько тебе годков? Я тебя не помню!

— Ответьте! Меня интересует только один вопрос: приедете или нет? Вас ждут! Понимаете? Ждут! — волнуясь, Аня перешла с ним на «вы».

— Вот что, Арентова: скажите бабе Тае, что у меня тут были дела с пропиской у жены! У же-ны! Женился я, понимаете? Приедем в июне! Слышишь, Арентова? В и-ю-не! Года на три денег зашибить! Пусть бабушка пока никого не пускает — рассчитаемся за все! А? Что? Говорите вы или молчите?

— Я молчу,— сказала Аня.— Молчу!..

Собираясь к бабушке Тае с радостной вестью, она не позволяла своей душе ликовать. Она не знала, но чувствовала, что добру не свойственны бурные радости. Оно тихо и могуче, как шум тайги за окнами почты.



## ТУШИЧОК

Инженер Бабайцев происходил из крестьянской лесостепной семьи, много работал и не приобрел навыков в обращении с женщинами, а потому был холост, да и не спешил навстречу напасти. Когда ему было уже тридцать два и кандидатская вот-вот должна была случиться, друзья подшутили над ним просто и весело. Они поспорили между собой, что женят Бабайцева.

Однажды на отдыхе за городом заговорщики так расхвалили, так возвысили в его присутствии Надежду из университетского комитета комсомола, что он невольно заинтересовался этой белокурой злой девушкой с золотой улыбкой, нечасто освещавшей ее хмурое лицо.

Милый человек Бабайцев слушал и вспоминал лицо Надежды, он лежал в тени цветущего ранетового дерева и бестолково, наобум, перебирал гитарные струны. Он думал, что защитит диссертацию — защитит и приедет домой, где сто лет не был, кандидатом с белокурой женой. Он покажет ей пруд, в котором учился плавать, научит искать грибы, скакать на лошади, есть огурцы с грядки. Что еще? А небо! И родитель наденет свой люстриновый пиджак, а может, и не люстриновый, но древний, с унылыми лацканами.

Вскоре он женился на Надежде к восторгу «шутников», защитил кандидатскую. И удивил товарищей тем, что безудержно любил свою злую, испорченную иллюзиями жену. И она любила Бабайцева. Она вязала ему кофты из немислимых своих снов, следила за каждым глотком пива, который он себе позволял, и шептала: закусывай-де, закусывай... И уже все стали

замечать, что Бабайцев недурен собой, а Надежда — ничего себе, как случилось несчастье: Надежда тяжело заболела и нашла последний приют на отдаленном кладбище.

Днем Бабайцев жил похожим на себя прежнего, а с закатом солнца его обнимала и гнула тревога. Тревожно гудели краны водопровода, шаги на лестнице будили светлые воспоминания. Он вслушивался в скрежет лифта, он перестал бороться с тараканами — это были живые существа. И тараканы, как беженцы, являлись к нему со всех углов большого панельного дома. Засыпал Бабайцев только с непогашенным светом, только с поздним рассветом. Книги, что он читал по ночам, не достигали сознания.

Бабайцев толстел и терял волю к жизни. Выражение лица его и весь рисунок изменились, взгляд стал испуганно-вопрошающим.

Товарищи из соображений высшей деликатности, а на самом деле по душевной лени, нечасто навещали его.

Они вспоминали, какие бутерброды делала Надежда Бабайцеву: хлеб, на хлебе масло, поверх масла сыр, да еще помидорина!

Только один из них, Любкин, крепко подумал и кое-что решил насчет Бабайцева. «Надо вырвать его из траурной домашней обстановки», — так он сказал себе. От такой мысли пришел в умиление, возвысился над серым полотнищем будней и в полноте чувств приготовил для Бабайцева сюрприз. Вечером он двинулся к Бабайцеву.

Тот отпер дверь.

На лице его возникло подобие улыбки, отсвет былой жизни.

«Неужто он так любил эту... хм... женщину?» — подумалось Любкину, едва он снял шапку и пожал Бабайцеву плечо. Установилась незаметно траурная привычка: не руку жать Бабайцеву, а плечо.

— Что — тупичок-с? — Любкин, озирая квартиру, умно вздохнул, достал табак.

Вздохнул и Бабайцев, оглядывая жилище вместе с Любкиным как бы взглядом Любкина.

— Да-а, брат,— выдавил он и попытался причесать пальцами волосы, скатавшиеся на затылке от долгого лежания и глядения в потолок.

— В школу графоманов записался? — спросил Любкин, кивнув на бумажный листопад на столе и на полу. Поднял одну из бумаг, поднес к глазам. Бабайцев бесстрастно смотрел в законную темень.

— Письмо отцу...

— Ах, извини,— смялся Любкин.— Можно снять пальто?

— Валяй,— потянулся помочь Бабайцев.— А то потом выйдешь на улицу и станешь мерзнуть...— и подумал со страхом и жалостью о промерзающей земле: «Надя моя, Надя...»

— Ну-у! Мы все же сибиряки,— сказал Любкин, выпроставшись из рукавов пальто и подав его товарищу. Он словно бы попал в неведомое поле печали и стал думать не своими быстрыми и насмешливыми мыслями, а тяжелыми и долгими бабайцевскими. «Надо быстренько уйти,— встряхнулся он.— Ну его, тоскуна...»

Бабайцев же говорил о чае, одышливо покашливал, толстые пальцы его дрожали, когда он подавал чайные чашки, а глаза светились тусклым светом, когда он вдруг говорил о возможности жизни после смерти.

Любкин оправился от ощущения гнетущего мира этого жилища с первыми глотками чая.

— Старый,— сказал он, почесывая ногу о ногу,— все это блеф. Вся эта жизнь после смерти. Ты Высоцкого, что ли, наслушался? Ты посмотри в зеркало на свой фэйс!.. Иди глянь. Где у тебя зеркало? А тебе ведь тридцать пять. А жизнь одна.

Бабайцев насупился.

— Тоскую...— сказал он глухо и добавил: — А жизнь после смерти есть... Джона Лилли читал?

Уважающий себя Любкин возмущился от такой тупости:

— Мне эти оккультные дела, эти ауры, эти астральные сигналы — побоку! Мне тут пожить хочется, мне тут хорошо, поверх земли... Понятно?

— Живи,— согласился Бабайцев.— Но почему же мне так

тревожно ночами? Как в детстве... Ах, ты! — и он подул на остывающий чай, чтобы не показать Любкину повлажневших глаз.

Любкин же утверждался:

— Ты мужчина! Хочешь, я тебе найду? Хочешь?

Бабайцев побледнел и, гневно глядя на товарища, поднялся из-за стола. Он сказал укоризненно:

— Да что ты, Виктор!.. Любкин!.. Не видишь: я схожу с ума? Ты сам-то любил ли кого?

Любкин опомнился и погрубел:

— С ума... с ума... Был бы он у кого, этот ум... Чего ты боишься: привидений? чертей?

— Себя боюсь,— чуть подумав, ответил Бабайцев,— души своей бездонной... Я ничего в ней не понимаю... Куда она ведет?

— Тупичок! Понимаю: ту-пи-чок! Но ищи выход! Ищи! Давай будем искать вместе! А время лечит, ты знаешь это не хуже меня!

— Какое такое время: будущее? прошлое? настоящее? — с поддевкой спросил Бабайцев.

Любкин с поддевкой же ответил:

— Быстротекущее! — и, ощупывая сюрприз в кармане пиджака, думал о тщетности человеческих усилий понять себя.— Да пойми: ты еще молод, ты кандидат. Женись! И зарастет, поверь мне!

— За чем? — Бабайцев презрительно сощурился.

Любкин тоже лицом и взглядом выказывал презрение к собеседнику:

— Что: за чем? Ты действительно рехнулся! Живым надо жить!

— Как?

— Как? Ну... добиваться чего-то осязаемого, нужного...

— Чего?

— Ладно. Ладненько,— не стал продолжать Любкин, а сделался вялым и равнодушным с виду.— Может, я чего-то не понимаю. Мне не дано. Я простой инженер. Холостяк. Удачник. Где

мне постичь глубину чужого горя? А ты расштался! Таблетки-то хоть пьешь? Ешь? Принести тебе тазепама?

— Нет, я сам... Без фармакологии...

— Напрасно. Тебе нужно много спать. Ведь не спишь ночами, так я говорю?

— Душу не усыпить,— пробубнил Бабайцев и стал тереть переносицу пальцами.

— Лечиться надо, бэби,— Любкин понимал, что взял не тот тон, но попал уже в колею, и его несло: — Или смени обстановку...— Он подумал: «Сказать ему о шутке на пикнике? Пусть поймет, что все случайно»,— но не решился и холодно глядел на мучимого памятью вдовца.

С тем и ушел, а сюрприз оставил в коробке из-под туфель, которая лежала во встроенном шкафу.

А напряжение духа шло по накатанному бессонницей пути.

Бабайцев не умел объяснить своего состояния. К полуночи голова его наливалась тугой болью. В тенях на стене виделся какой-то символический смысл, он скучал, курил, тупел и засыпал на заре. Надежда не снилась ему, или сны эти не помнились. Из черной ямы короткого предутреннего сна Бабайцева не мог вырвать звон будильника, и, хотя режим работы в институте был достаточно вольным, он часто опаздывал, вызывая недовольство завлаба.

Бабайцев стал бояться ночи и хитрить: ложиться спать рано, чтоб проснуться во тьме, засветить лампу и до утра работать.

Надя смотрела на него с увеличенной фотографии под стеклом письменного стола, и чувство невольной вины точило душу.

«Я стар,— думал Бабайцев.— И ничего уже не начать сначала... Кому нужен я? Кому нужна моя сумасшедшая работа? Математика бесконечна, я пигмей перед ней, я смертен и ничего не могу противопоставить старости...»

Он стал читать труды Гурджиева в поисках Надежды, он пытался поднять ощущение своего «я» над собой, но оно не уходило из чакры в области сердца.

Под утро после визита Любкина он постелил коврик на полу — циновки не было, как не было и тепла в этой железобетонной камере, — и пытался медитировать. Разделся, двинул коврик ближе к радиатору и сел на него в одну из неудобных поз. Он тщательно отключал слух, но все равно слышал свист реактивного самолета в ночном небе, звонки крана на стройке, скулеж собаки на домашнем правеже, шум сеяного дождя.

Бабайцев сосредоточил внимание на области сердца, по телу разлилось приятное тепло, но мозг восстал: это тепло от батареи!

— Все равно, — решил Бабайцев. — Так мне хорошо...

Однако и это состояние нарушилось, когда он услышал медленные, царапающие шорохи, а чуть позже грохот какого-то предмета о пол и короткую испуганную тишину.

Бабайцев вскочил, суетливо нащупал на стене выключатель, и комната наполнилась светом. Он выждал и тщательно осмотрел комнату, но поиск шумов оказался напрасным. Тогда Бабайцев погасил свет, и через несколько мгновений снова — топ... царап... царап... топ... Темнота помогала сориентироваться на звук, он был где-то рядом, и производило его живое существо, но Бабайцев слишком разволновался и крикнул коротко и резко:

— А!

Шорохи стихли. Бабайцев снова зажег свет и глянул на себя в зеркало глаза в глаза — лицо искажено, взгляд полон бешеной решимости. Он почувствовал холод, оделся в тренировочный костюм и продолжил безуспешный поиск, а когда наконец утренний свет стал смешиваться с электрическим и в подъезде начали постреливать входные двери, он прилег, не раздеваясь, на диван и уснул измотанный.

«Тупик, — думал он и во сне. — Тупичок-с...»

Он проснулся не от ранящего душу звона будильника, а от тех же звуков. Резво вскочил, осмотрелся, вслушался: звук шел низом, со стороны прихожей.

— Крыса! — тихонько сказал Бабайцев и, как гранаты, дер-

жа ночные туфли, на цыпочках двинулся к прихожей. Ритм скребущих шажков не нарушался. «Крысы осторожней», — подумал он и заглянул в приоткрытую дверь стенного шкафа.

Он увидел на полу картонку из-под туфель, а из картонки, опрокинутой набок, тщицлась вылезти через порог шкафа маленькая степная черепашка.

— Мразь, — вздрогнул от неожиданности Бабайцев, схватил ее двумя пальцами, большим и мизинцем, потащил к не заклеенному еще окну и распахнул створки.

Через двор шел пенсионер с бидончиком. Он погрозил Бабайцеву пальцем и подмигнул: смотри, мол, у меня.

— Иди, иди себе, хрыч, — тихонько сказал Бабайцев и, еще раз глянув на черепаху, увидел на ее панцире наклеенную в виде пивной этикетки бумажку. На ней было написано малиновым фломастером: «Любкин — Бабайцеву». Черепаха шевелила чешуйчатыми лапками, словно плыла по воздуху, она тянула шею навстречу сквозняку.

— Живая, — сказал Бабайцев. — Живая, кулема... Ну попалась бы ты мне ночью!..

Он понес черепаху в ванную, отскоблил с панциря бумажку и налил ей молока в фаянсовое блюдце.

С этого утра началось медленное выздоровление Бабайцева.

Уже через несколько недель он устроился работать каменщиком, очень уставал, худел, и когда женился, то получил квартиру в новом доме.

А черепаха издохла первой же наступившей зимой.



## НОВЫЙ АКТЕОН

На перроне маленькой пригородной станции вохровская собака Берта схватила Василия Ильичева. Именно в это голубое утро он собирался уехать в родную деревню. Насовсем.

В летнем небе цвел желтым цветком мать-и-мачехи солнечный круг. Василий стоял на переходном мосту, где не так пахло сажей и раскаляющимися рельсами. Чемодан его с ввалившимися боками играл на солнце металлической оковкой, сам Василий задумчиво, невидяще смотрел сверху на окрестные дворы, на синие рельсы, по которым должен пролечь его путь.

Дома он не был давно. Тогда еще живой отец водил его на могилу бабки, к березам, изогнутым в земном поклоне. Помнились запахи уличных печек да равнина в изумрудной траве, по которой вольно катилась чья-то полуторка... Бывало, и забытые слезы утирал в темноте кинозала, и при мыслях о родине и незнакомой родне все плотней и плотней день ото дня, ночь от ночи обкладывало грудь Василия. Будто перекурил лишнего, а утром дышать нечем. Нетерпение его было так велико, что несмотря на отсутствие денег он решил ехать перекладными: на электричках сначала до Черепанова, там до Барнаула, а уж там и до Бийска недалече. А там... И черт его дернул в счастливом возбуждении спуститься на перрон, где сновали охранники с собакой. Уборщик перрона сказал, что ночью опять контейнеры в тупике обчистили — вот Василий и пошел любопытствовать, поговорить. Взял чемоданишко и идет. До поезда, думает, еще двадцать минут, и подходит этаким интуристом к группе охран-

ников. Пригляделся к лицам и говорит одному пожилому с собакой:

— Здоров!

Тот отвечает, что здоров. Василий спрашивает, что, мол, ищут. Охранник было отвечать, но его собака, которая при подходе Ильичева стала вести себя очень беспокойно, натянула поводок в его сторону и поволокла так, что рука охранника, обмотанная поводком, побелела. Подтянулась собака к Василию, повизгивает, передними лапами в грудь бьет. Он чемоданом от нее отмахивается, а та свое: прямо в лицо норовит лизнуть.

Пожилой с трудом оттащил собаку и спрашивает:

— Кто такой? Документы!

— Какие документы? — запыхался Василий. — Кто их с собой на дачу таскает? Во даешь... Документы ему подавай! Я ж твои не спрашиваю, а тебе — на! — документы...

С любопытством подтянулись остальные охранники, человек пять. Пожилой еще раз говорит:

— Я прошу предъявить документы! В противном случае — мой долг тебя задержать!..

— Я задержу! — пригрозил Василий, взял чемодан и направился в сторону. Мужик он был здоровый, тридцать три года. Всю толпу бы пораскидал, как ему казалось. Но слышит крик:

— Берта! Фас!

Нагоняет его Берта, но не кусает, а рядом бежит и покусливает. Посмотрел на нее Василий, недоумевая. Пригляделся внимательно: две черные полосочки на лбу, во впадине.

— Бог ты мой! Земляки! Это ж мой щенок бывший! Эра!

Он сел на корточки, ерошит ее шерсть, она его в нос лижет. Вроде смеются оба. Народ с перрона собрался, охранники кричали, чтоб народ расходился. Но люди, как футболисты, ставящие «стенку», под нажимом судьи пятились назад и снова возвращались на оставленные позиции. Собака лизала руку Ильичева.

— Берта! — цыкнул на нее пожилой. Она потупилась, понурилась.

— Ишь ты, зверина, узнала Ваську... — тянулся к ней Ильи-

чев.— Признала... Не то что друзья-товарищи, некоторые штатские...

Нос его покраснел, припух. Голубые глаза потяжелели. Прибежал командир охранников, быстро разобрался в обстановке, тоже посмеялся тому, что собака бывшего своего хозяина поймала, и говорит:

— Вот так-так! Не будете собак из дому гнать... А то причут животное — да из дома вон. Так?

— Нет, не так,— отвечает Василий,— я с женой два года как не живу. Ушел — все ей оставил. Собаку вот тоже. Куда с ней пойдешь? Сам как собака... Видно, выла по мне, жинка и выгнала... Эра, уж ты, морда...— потянулся он к собаке.

Начальник нахмурился:

— Прекрати! Не порть собаку! Она находится на службе. Показывай документы и езжай, куда надо, а собаку не порть, говорю.

— Нету у него при себе,— сказал пожилой охранник.

— У меня их вообще нету...

Кто за язык дергал?

После такого признания повели его в отдел вневедомственной охраны.

Идти нужно было километра три через поселок, потом через лес, на узловую. Вначале шагали молча: Василий, пожилой охранник и молодой парнишка на протезе вместо правой ноги. Видно, подрабатывающий из студентов, поскольку за ремнем гимнастерки держалась обидная тетрадь, по обрезу которой было написано: «Свербейкин Гр.». Время от времени пожилой поглядывал в лицо Василия. Видно, поговорить хотел. Когда ступили на лесную дорогу, он начал:

— Молодой, красивый! Мне б твои годочки бы! Работай, живи! А он... Это что стало с русским-то народом? А, Свербейкин?

— При чем здесь русский — нерусский? На Западе еще и того лохмаче. Там таких бедуинов, как этот...

Пожилой перебил:

— Ладно мне! Запад... Мне этот Запад, знаешь чо? Ну и вот. Мне тут обидно. На нашей земле. Мир ведь, театры-пляжи, библиотеки-цирки, парки-души, эскимо-телевизоры.

— Было,— усмехнулся Василий.— И кино-вино, и жена-медсестра в белом халате... Было. Рога она мне, как говорится, наставила... Чем богаты, тем, говорит, и рогаты. Теперь чистый слень. Так-то, земляки. Вы-то женаты кто, нет?

Пожилой оживился, подмигнул Василию:

— Эх-хе-хе! Уж и у детей дети большие... В парнях я, было тоже, попивал, да вовремя одумался. А щас уж где счастье-то? Оглянешься — ага! Вот оно, было и на нашем веку. А ты, ты как думал... Это, брат, было... Позади его всегда видишь... Ты не пристал? — обратился он к студенту.— А то сядем давай на травку-то вон...

Сели на солнечной полянке у обочины. Охранники оказались некурящими. Василий поплутал рядом, как козел на привязи, походил кругами, нашел окурок. Спички были в чемодане. Он переложил их в карман, а чемодан зашвырнул в кусты. Свербейкин отжался на руках, встал на ноги.

— Это что? — строго сказал он.— Почему это чемодан забросили? Что у вас там? — и пошел в кусты.

— Пустой чемодан,— вслед ему лениво сказал Василий.

— Как так?

— Да я взял, чтоб милиция не вязалась, вроде как пассажир тоже... Я зайцем ехать собирался. В деревню, на родину... А на каждого зайца — свой волк, правду люди говорят.

Молодой Свербейкин притащил чемодан, проверил заинтересованно его пустоту, вскрыл перочинным ножичком обшивку и, ничего не найдя, кроме голубиного помета, сказал:

— Все верно... Только мы должны вас с чемоданом привести, как взяли... Правда, дядя Леня?

— Это так,— дремно сказал дядя Леня, надвигая козырек фуражки на глаза.— Как взял, так и положь... Сразу-то не спросил, как звать, слышь, задержанный?

— Василием...

— Как так она, стерва, тебя наказала, жинка-то, а, Василий? Пил, гулял или что ей не устраивалось с тобой?

Ильичев загасил обжигающий губы окурок. Лег на спину. Дрема. Белки шишки лущат. Земляника в цвету. Из поселка слышен благовест бутылок от посудного ларька, смятые голоса диспетчеров из стационарных громкоговорителей и лесное эхо. Каждая травинка у лица жить просится.

— Нет, я тогда не пил...

— Как же тогда?

— А как? Очень просто...— Василий погонял мураша по широкой, иссеченной работой ладони, сдул его наземь.— Она пока на медсестру училась, мы по квартирам скитались... Угол, бывало, снимем, закуток тараканий... Ты, дядя Леня, белых тараканов с черными глазами встречал когда?

— Тьфу! Бя-я-я,— перекосило дядю Леню.

— А я их за ночь штук по десять со своего лица, бывало, скидывал. Белые — это которые без солнца растут... Так и подумай, как мы бедовали. Добро б всем миром, а то люди-то такие же вроде живут и все имеют. Как так? Ну и начал я калымить, шабашить ли. Как лето, так я с работы увольняюсь и на калым: на кооператив копили, на мебель. Так-то вот за пять лет мы и почуяли — скоро. Я больше еще упираюсь. Лето, считай, меня дома нет. А она стихи любила, на самодеятельность бегала зимой. Летом ко мне на шабашку раза два в месяц приедет: мечтаем... Барашка там у директора совхоза возьму, шашлыков наделаем... Дядь, как размечтаемся — глядь: и хватает на полмесяца терпежу. Ну и вот... Привожу как-то домой свои трудовые, уже в кооперативном жили...

— Купил ей площадь-то?

— Купил, как же... Купи-и-ил.

— А ездил зачем? Из дому зачем опять уезжал?

— А вот привык, дядя. И воля, и вкалываешь — так знаешь за что. Я ж и плотник-бетонщик, и каменщик: углы завести лучше меня не ищи. В монтаже знаю, варить могу... Они с этим бригадным подрядом на производстве бьются-ломаются, а у нас

на калыме он уж давно на рельсах... Опять: мебель нужна, а потом, мол, и ребеночка родим...

— Не рожала? Стерва-то, говорю, твоя не рожала?

— Медичка. Знала чо-то... И на курорт ее отсылал два раза сдуру. Приезжает с курорту — еще пуще больная: и то болит, и там болит, и... А-а!

— Дак поваляйся по сырой-то земле,— с ненавистью скривился дядя Леня, снял с лица фуражку и заглянул, приподнявшись на локте, прямо в глаза Ильичева.— Понял? Эх, мал-малек... И ну?

— И ну... Приезжаю домой с получкой, в пятницу. Мы с полочки на пару дней по очереди домой ездили. У кого дом есть, конечно. Приезжаю в обед. Она когда и дежурила, так в обед домой приходила собаку выгулять. Эру-то мою. Она тогда щенком была...

— Умная собака выросла...

— Ну, короче, нет моей дома. Ладно. Собаку взял, вывел. Соседа встречаю, тоже Ваську, из соседнего подъезда. Пошли, говорит, во двор. Шахматишки подвигаем. Ну, пошли и пошли. Он мне — шах, я ему — мат, он — шах, я — мат. Васька завелся и говорит: больно жена у тебя красивая, а ты по калымам шатаешься. Не поверю, мол, что у нее никого в городе нет. Я, говорит, опытный, городской, а на такой бы не женился. Так, полакомиться баба... Дело к вечеру. Сердце, брат, зануло вот тут,— указал где.— Что делать? Решился. Пошел домой, оставляю деньги, пишу записку: так и так, приезжал на часок, надо сдавать объект, и на выходные остаться не могу. Приеду через неделю, вари щи. В конце «целую», все, как в романе. Сам пошел в «Садко», посидел до закрытия, а домой так и тянет. Нет, думаю, погоди, парень, не время еще для таких дел.

— Ну ты, Василий, прямо на три серии тянешь...— не выдержал Свербейкин.— Поймал ее, что ли?

— А то нет,— помолчав мгновение, сказал Василий.

По лесной дороге женщина везла детскую коляску с пустыми бутылками.

— Тетка! — встал Василий.— Курить ма?

Закурил. Охранники тоже встали, оправили гимнастерки, стряхнули хвоинки с брюк.

— Во! — подошел к ним Василий.— Раскрутили — и вперед! Нет, земляки... Дайте папиросу докурить. Там, в милиции, не дадут...

— А приходилось там бывать? — спросил Свербейкин.

— Был раз...

— За что?

— Одному челюсть своротил... На сутки загремел...

— За что? — снова спросил молодой.— Челюсть-то за что?

— А чтоб резинку не жувал... Не могу глядеть, как они эту жувачку жуют...

Пожилой засмеялся поощрительно, утер губы ладонью и присел опять, говоря:

— Ладно врать-то... За это бы сутками не отделался. Докуривай да пойдём...— Он опять засмеялся.— Ну ты и человек! Родит же земля — каких только не насмотришься! Жить бы да жить такому мужчине — ан туда же! — в камору! — покачал головой, вздохнул: — Как поймал-то?

— Да как? Прихожу, своим ключом дверь отчиняю, а там на цепке. Стучусь. Она квохчет: «Ой, кто там? Ой, погодите, мужа дома нет, ой, я раздетая!» Ой да ой! «Открывай,— спокойно так говорю.— Не буди соседей, два часа ночи уже». Открывает — бух в ноги... Ну, бросил их да побрел. Помыслы были вернуться: нет, думаю, доломает она меня. Так и бреду...

Дядя Леня сидел задумчивый, Свербейкин от смеха ремень расстегнул. И сам Василий улыбался, глядя на бывшую папиросу.

— Скрутило ж тебя, малый... Скрутило,— сказал дядя Леня и глянул на молодого, прищурив один глаз, как в мучительном раздумье.— Гришка, а Гришка!..

— Чо?

— Чо-о-о! — передразнил его дядя Леня.— Хватит мух ловить — пошли... Чо-о! Тебе только и дел, что по лесам валяться... Чо-о-о...

Шли молча. Вскоре за поворотом должен был открыться



железнодорожный профилакторий, а в километре от него уже пойдут жилые дома и автобусные остановки.

— Портянки трут чего-то,— сказал дядя Леня.— Стойка, переобуться надо... Мозолей набил на картошке, теперь вот... ишь... Картошки в этом году мало содим... Дети взрослые, в магазине берут... Пых-пых... А там разве корнеплод? Червь да пролежины... Так ведь, Василий? Ну. А я что говорю? Ты вот что мне скажи: где документы посеял? И так думаю и так — не придумаю: как это можно без документа жить?

— Я их, дядя Леня, потерял, правда. В милицию чо-то сразу побоялся, а потом запустил...

— Стоп-стоп-стоп! Пых-пых... Как это потерял, ты Расскажи вот...

— Длинный это рассказ,— ответил Василий.— А ты, дядя Леня, портянку-то не по-армейскому мотаешь... Не-ет...

— Я по-крестьянскому мотаю, а ты мне не указ, Васька... У меня этот сустав на пятке еще с войны раздроблен. Вот и мотаю, как удобней... Пых-пых... Переку-у-у-ур! Ну, давай, Васена! Садись...

— Да,— отмахнулся Василий, садясь.— Чо рассказывать? Я ж говорю, дядя Леня, после той цирюльни... месяца три ждал, чтоб домой не тянуло к родной жене. Ляжет иногда какая-нибудь шельмочка со мной, дышит в подмышку, а я думаю: эх ты, дура ты, дура... любил ведь тебя кто-нибудь, мамка ведь у тебя есть. Да так всю ночь и пролежу: то сплю, то думаю. А в одно утро, вот как седни, враз отрезвел. Поеду, думаю, к сестре, в Канск-город. Поеду, думаю, пока на книжке еще осталось. Взял денег в карман — они пищат, на волю просятся. Ну я подарков закупил. Сестре Надежде — на платье, свояку — бутылку, старшему племяннику — духовое ружье это, младшему — книгу «Как закалялась сталь»... Билет взял. Рублишки все пищат — праздник, вроде жизнь новая начинается. Поехал. Очнулся на станции Чаны — ни тебе вещей, ни денег с чемоданом. А документы вот тут в пинжаке лежали — и нет. Хожу по этому вокзалу. И никого-то родни нет. Сестренка в Канске спит, не знает... Ничо не знает: каково ее братцу... Рожала меня мать, думаю, от бо-

лезней хранила, баюкала — песни пела... И сам-то мальчонкой все глядел: где это земля с небом сходится? Э-эх!

— И что? — задумчиво, сквозь прокашливание спрашивает дядя Леня.— Интересно: что дальше было?

— Пора нам,— встал Свербейкин.— Сколько ж можно?

— Чего ты? — строго спросил дядя Леня.

— Да пить охота! — усталым голосом ответил Свербейкин.

— Вон сбегай-ка в профилакторий за куревом, там и попьешь заодно...

— Да мимо ж пойдем. Какой из меня скороход...

Уже стоя, дядя Леня продолжал ворчать:

— Рассказывает ему человек, чего по радио не передают,— дак нет! Как черви его точат... Студент тоже...

— Ладно,— говорит Василий, разминая ноги.— Дэрогой расскажу. А то, я смотрю, попадет вам от начальства.

У профилактория снова останавливаются. Ждут, когда молодой сходит за водой и куревом.

— Вот так,— вздыхает дядя Леня.— Лови блоху, а не жизнь плоху... А чего это тебя так скособочило?

— Ага... Ограничение движения в области правого плеча пишут... А рука — вишь,— Василий согнул руку в локте и стал поднимать на уровень плеча. Рука поднялась с легким треском.— Вот...

— Правого...— мрачно усмехается дядя Леня.— У рабочего человека все плечи правые, неправых нет... Да. А вообще,— отвернулся он в сторону тропки на профилакторий,— иди-ка ты, Васена, пока Свербейкина нет. Уезжай в свою деревню, выправляй документы да детей заводи, чтоб за землю держались... Умней тебя чтоб были. Чудной ты! Простой, сказать. Я ведь думал, ты по дороге убежишь от старого да хромого, дак ведь... Иди давай по холодку...

Но Василий не шел. Стоит лыбится.

— Иди! Чо встал, луковая твоя голова... Щас на тебя всех собак навешают — и в колонию. А там позорно находиться...

Молодой, здоровый, руки-ноги на месте. Ну, скрипит рука! Дак ты ж не спортсмен, так я говорю? Или я неправду говорю?

— Нет, дядя,— посерьезнел Василий.— Сил у меня больше нет. Нету моих сил... Куда скрываться? Я вот подумал. Ну дадут годок, а мне польза. Документы потом выдадут — и я в село. Не в свое, пускай... мало ли их? В одной Сибирюшке не счесть сколько... А тут этот же год будешь ходить, документы хлопотать, да унижаться, да протоколы подписывать...

— Дак порядок — он порядок и есть,— значительно развел руками дядя Леня.— Но смотри, сынок... Чужая душа потемки, может, ты и прав...

— Прав, дядя. Да и вам за меня было бы, поди?

— Это уж не твоя забота...

На изгибе тропы, в ельнике, показался Свербейкин с сигаретами.

— Чо это он так много? — удивился Василий из вежливости.— Ты ж не куришь, дядя?

— Огород городить.

— А-а...

— Ага-а... Ну что: посидим, покурим да вперед пойдём?

— А куда назад-то? — хохотнул Василий.— Вперед...

— Чего это вы такие веселые? Чо смеетесь? — спросил, подходя, Свербейкин. Глядя на них, Свербейкин помрачнел: ему казалось, что причина смеха — его ковыляющая походка. А ее, этой причины, вообще не было. Так-то.

## ИГРА В ЛОТО

Такие дома строили у железнодорожных станций, в речных портах. Двухэтажные из серых и черных шпал, с окнами в суриковой обналочке. Летом во дворах этих домов пахнет помойкой, и если бы не повсеместная кленовая, тополевая, бузиновая зелень, если бы не цветущие палисадники, то пахло бы еще дезинфекцией.

Во дворе дома, о котором я хочу рассказать, стоят вкопанные в землю столики, и, как только с ближайших заводов — бетонного, асфальтного и щебеночного — пойдет по домам первая смена, за столиком появляется зубастый и до голубиной выбритый старик, который зимой ходит со скребком, ломиком и метлой. Его зовут Графином, и зимой этот знающий себе цену человек чистит общественные уборные, летом же читает книги и играет в лото.

Выходя из подъезда с вечно поломанной дверью, он несет с собой три мешочка. В одном из них трубочный табак или махорка, желательно Моршанской табачной фабрики; в другом — карты и кубики для игры в лото, а в третьем жареные семечки для женщин и детей. Графин курит так много, что если он идет по улице с подветренной стороны и еще не видно его лица, то не надо быть сыскной собакой, чтоб понять: Графин идет. Говорят, по этому запаху в молодости его всегда находила жена, где бы он ни искал уединения. Пальцы у него короткие и мощные, кулак сжимается в гирьку желто-коричневого цвета, когда он кладет руки на столешницу.

Примерно в это же время на балкон дома напротив вывозят

в кресле-коляске начальника одного из цехов бетонного завода Глебова, у которого весной разыгрался страшнейший ревматизм. Человек он веселый, хоть и немолодой, любит петь народные песни. При его красивом баритоне можно было бы иметь соль-ные концерты, а Глебов все пытается создать при заводе хор. Однако на репетиции редко приходят люди, имеющие голос, и Глебов в такие вечера бывает особенно грустен. Болезнь развила в нем давнюю страсть к рисованию: он ставит на балконе скон-струированный им мольберт, больше напоминающий пюпитр, и с удовольствием рисует, отвечая на приветствия даже не кивком головы, а только улыбкой.

Выждав некоторое время после выхода Графина, во двор ба-рыней выплывает Александра Григорьевна, бывшая бухгалтерша, женщина фронтная, курящая папиросы. Она седая, терпеливая в разговоре, но не мрачная. Скорей спокойно-загадочная. Что-то киношное, столичное в ее милом наряде — она любит сиреневые и лиловые тона, тоскует о крепдешине и какой-то броши, утерян-ной несколько лет назад при пожаре в этом доме. В этом сезоне ее платье украшает лиловая розочка, похоже, из камня.

Графин и Александра Григорьевна здороваются. При этом Гра-фин спокоен, а Александра Григорьевна часто поправляет в се-дых волосах скобу гребенки.

— Чо, Григорьевна? — говорит Графин.

— А что вас интересует? — деликатно осведомляется та.

— Сыграем? Метал колоду банкومت, и пот по лысине струился!

Александра Григорьевна дает поуговаривать себя, ссылаясь на то, что и народу мало, и деньги надо менять в магазине. Гра-фин вытаскивает из кармана галифе полную горсть медных де-нег.

— Сколь тебе разменять?

— Слушайте! — зачарованно говорит Александра Григорьев-на. — А они в самом деле у вас в кубышках хранятся?

— У меня в подвале монетный двор, — хитроном рассы-пается Графин.

Александра Григорьевна уходит за кошельком, где, по ее сло-

вам, остатки пенсии. Графин кладет на стол горсть новеньких монет. Они отражают солнце и уровень его благосостояния.

В одном из окон второго этажа появляется голый по пояс Федя Костенкин. Он растирается полотенцем, весело оглядывает двор и кричит:

— Графин, выходить, что ли? Давай мешай получше, я тебя нынче раскулачу!

Графин молчит, пускает клубы дыма. В трубке и груди его булькает, похрипывает.

Вскоре принялись за игру.

Порывы теплого ветра стремятся сбросить карты со стола, скрипят эмалированной чашкой фонаря на ближайшем столбе.

Молодуха Рязанова одной рукой качает коляску с ребенком, а другой двигает камешки по карте. Александра Григорьевна старательно сдерживает волнение: она курит и нарочито равнодушно смотрит на предвечернее солнце или поглаживает дворового пса Жулика, который, улыбаясь, положил к ней на колени многострадальную голову. Разомлев от ласки, он вприщур глядит, как чья-то хозяйка снимает белье с веревок, натянутых во дворе между столбами. Вдруг взлаивает и бросается к подошедшему к столу Гане Лихачеву. Все обращают на Ганю внимание, потому что знают: Ганя должен находиться в больнице.

— Ты, Ганимед, откуда в наших здоровых краях? — не отрываясь от игры, спрашивает Федя. — Отпустили, что ли? Режим нарушил?

— Сбежал я из больницы, — хрипит Ганя. Его почти не слышно.

— Что, что? — переспрашивает Федя, сморщив лицо.

— А! — машет рукой Ганя, горестно покачивает головой и удаляется к себе на второй этаж в комнату на подселении.

Возле стола все время крутится подросток Ермолаев по прозвищу Ермолай. Он нервно улыбается, почесывает то голову, то рукой руку, то подбежит к графиновским картам, то к рязановским, то крикнет:

— У вас же есть! Чо не закрываете? Александра Григорьевна, закройте бычий глаз!

— Десять?

— Ну да, десять — бычий глаз!

А Графин продолжает выкрикивать:

— Каря-баря! Смерть поэта!

— Что за каря-баря? — расстроенно спрашивает Александра Григорьевна, бегая взглядом по картам. Графин вежливо отвечает:

— Туда-сюда, как свиньи спят...

— Шисят девять, — радостно поясняет Ермолаев и восхищенно следит за руками Графина.

— Ты кричи по-человечески, хрыч! — сердится Рязанова. — Надоело в кубики заглядывать!

— Сороковка-луковка!

— А смерть поэта? Смерть поэта-то что? — совсем расстроилась Александра Григорьевна.

— Фу ты, беда! — Графин недовольно опускает руки с мешочком: — Смерть поэта — тридцать семь!

— Ты вот что, Графин, — говорит Федя Костенкин, — ты не выдумывай!.. Вчера говорил на тридцать семь, что это вдова погибшего матроса, позавчера — до войны четыре года, в пятницу — еще как-то пыхтел!..

— В пятницу он говорил: даешь больничный!

— Как? — не понимает Александра Григорьевна.

— Ну повышенная температура! — поясняет Ермолаев, и улыбка растягивает его лицо от уха до уха.

— Все равно, Графин, не по-людски кричишь! — успокоенно говорит Федя.

— А ты соображай, в институте учишься, — вступается за Графина Ермолаев и получает от Феди легкий подзатыльник, но лишь мимолетной тенью отражается это на его улыбке. Он, кажется, только развлек его. Но чтоб немного помолчать, Ермолаев находит в кармане гайку «на пятнадцать» и мусолит ее во рту.

Слышится песня: «...Там под солнцем юга ширь безбрежная-а... Ждет меня подруга чуть-чуть нежная-а-а...» — и к столу подъезжает на велосипеде Митяшка Бабаенок, маленького роста



человек, который, напиваясь с получки, закапывает записку под каким-нибудь столбом во дворе, а утром ищет, и если даже находит тот столб, то не находит записки. На это есть Ермолаев — молодой санитар пригородного двора. Правая штанина старомодных Митяшинских брюк перехвачена у манжетов прищепкой, чтоб не затянуло штанину в цепь велосипеда. Митяшу трудно понимать новому человеку: он не может произносить шипящие.

— Вдорово, мувыки! — говорит он и развалистой походкой моремана подходит по очереди к представителям мужского пола, широко размахивается и жмет приветственно руки, а Ермолаеву говорит: — Уди, урод парфывый, бандит нефоверфенчолетний... Проныра...

Потом звенит в кармане мелочью:

— Фыграем?

— Жди низа,— говорит ему Графин и кричит: — Бенские стульчики!.. Молодая!..

— Вдать так дождеффа,— громко говорит Митяша и всем поочередно заглядывает в глаза,— дождеффа тут... Фкоро ффем надо на юг подаватфа...

— Ой, на юг! — ехидничает Рязанова.— Тебя только на юге не видели... Может, еще в Италию захочешь или в Ниццу... Мало тебе тут Нелька морду-то царапает, а то как раз на юг...

Графин кричит попроще, когда начинается посторонний разговор. Внимание Митяше — любят его треп.

— Это он kota вчера сушиться вешал на бельевую веревку,— Федя Костенкин двинул фишку по карте.— Он его своей велосипедной прищепкой, а тот не будь дурак — да когтями...

— Пип,— кричит Графин, ни разу не улыбнувшись.

Рязанова закрывает цифру пятнадцать и продолжает разговор с Митяшей:

— На юг ему захотелось... Там и столбов-то таких нет, где деньги будешь прятать?

— Дура,— говорит Митяша.— Бевать отфюда надо: один ход — в дымоход! Ффем!

— Ох, дуроplet,— хохочет добродушный Федя.— Ох, не мешай, я сейчас середку кончу!

Митяша послушно замолкает, и снова все погружаются в игру.

Тактик от лото, Графин, желая выиграть, начинает шифроваться:

— Тронь-ка!

— Три! — переводит Ермолаев.

— Пора любви...

— Восемьдесят девять! — ухахатывается мальчишка.

— Парашютист...

— Шестерка! — Ермолаев чуть не плачет от восторга.

— Стой! Что за парашютист? — Федя встает из-за стола.— Это почему: шестерка — парашютист?

— Гений! — говорит Ермолаев.— Это шутка гения!

— Если шестерка, то я кончил середку! — говорит Федя.—

Проверяйте.

Графин начинает проверять, называя числа их обычными именами. Но распаивается окно Ганиной комнаты, и женщина в бигудях кричит:

— Лю-у-уди-и! Скорей! Ганька повесился-а-а! У-у! Гаврилушка-а! Скорей-й! Лю-у-уди-и! — и из комнаты слышится ее топот, грохот посуды.

Сидящие за столом словно оцепенели. На крики из дворового сарая-углярки выскочил второгодник Николаев и встал в проеме двери, а за его спиной, то подныривая под мышку, то возникая над плечом, мелькало белое в кудряшках лицо.

— Смотрите! — срывающимся в смехе голосом закричал Ермолаев.— Николай с Федоровой уроки учут!

И сразу все пришло в движение: все бегут, вынимают Ганю из петли, отхаживают, поят водой. Ганя лежит на тахте, и, когда открывает черные от зрачков глаза, из-под ресниц его выбегают две оживленные слезинки. Рязанова упала на крутом лестничном марше и разбила белое колено. Александра Григорьевна, обняв себя за локти, стоит, прислонившись спиной к простенку меж

окнами, жует мундштук. Ганина жена убирает следы погрома на кухне общего пользования.

— Фе, Ганя? — тихо спрашивает Митяша. — Фе плафеф? Больно? Я ведь думал, друг, фто ты в больнитфе...

Графин протягивает Гане трубку:

— На курни, Гаврило, да выходи в лото играть, пока на больничном...

Ганя шепчет, осторожно поматывая головой:

— Нет мне жизни без голоса... Не шутки это... Вот так вот...

Жулик пытается лизнуть его в рот.

— Опять он про свой голос! — слезливо говорит Ганина жена и, швыряя на пол мокрую тряпку, тыльной стороной ладони чешет нос: — Опять про голос! Да какой там голос-то был? Тоненький, как у комарика, а? Смотрите, люди, ведь как на рыбалке весной голос потерял, так с ума мужик сошел! Не могу, грит, не петь! — Между делом она дает пинка Жулику, и тот понятливо покидает жилплощадь. — Одна, мол, радость была: голос, грит, как, грит, запоешь, где захочешь! — продолжает она. — Ну не дурак ли?

— Мне без голоса не жить, — едва слышно твердит свое Ганя.

— Ты чо, Магомаев? — воспитывает Рязанова. — А, Гань? Это тому голос потерять — куска хлеба лишиться, а ты-то: крановой! Зачем же так переживать-то, Га-аня!

А Ганя свое:

— То ведь как запою, запою!.. А теперь?

— Ты, Гань, глупый... — говорит Митяша. — Уфеные фкоро придумают лекарфтво — попьеф — и пой!

— Ага! — щурится Рязанова. — По рупь семнадцать, что ли? Так ты и с одеколона, Митяша, поешь...

— Не, — возражает Митяша, — с одеколофки я фтрелять рвуфя! А наука-то ффяф — ого! Видал по телефифору покафывали, как одному мувыку от ноги палетф отмякали, а к руке — прифобатфили! А? Ого!

— Ну, я пошел,— говорит Графин, выждав паузу.— Пошли, Федор, слышь? Кепка-то с деньгами там, на столе...

— Да я побуду! — ответил Федор.— Теперь уж поздно...

Ганя ковыряет ворс ковра на стене:

— Эх, ребята-ребятешь! Эх, в армию бы, братчики, уйти, что ли? В армии как хорошо-то, братцы...

— Чо ковер-то ковыряешь? — все так же слезно, но уже зло говорит жена.— А нынче чуть телевизор не разбил! Чо он ему, телевизор-то, сделал, а? — поворачивается она к Графину.

— У телевизора и спрашивай,— холодно отвечает Графин и медленно направляется к двери.

— Господи, господи! — слезоточит Ганина жена.— Хорошо, хоть соседей дома нет...

— Да,— говорит Александра Григорьевна,— пожалуй, и я пойду. Выздоровливайте, Гавриил... простите, отчества не знаю... Что же вы? Голос к вам вернется... у нас на фронте воевал лейтенантик Коля Болтавин — так рисовал! Бесподобно! А впрочем, что это я?.. Ну, вот. Главное, все в порядке! Счастливо! — Она комкает носовой платок из тонкой ткани и выходит на цыпочках.

— Мувык, а плафед, как... дите,— говорит Митяша,— выходи играть...

Все уходят. Ганя остается один и украдкой от жены сморкается в подол своей длинной алой майки.

Солнце скраснело и стыдливо пошло прятаться за березняк. Цугуночка сходила домой и обула стеганные бурки. Рязанова отвезла домой ребенка. Удивленно оглядев спущенные шины велосипеда, Митяша покатыл его в сторону магазина.

— Что-то сегодня народу... маловато,— зевнув, не открывая рта, сказал Федя.— Восьмой час уже... Эй! Глебов! Поиграть не хотите?

— Во-он за сараями Кит с Ромкой Голубевым идут! — говорит им из коляски Глебов.— Им все равно: страдать иль наслаждаться, а я поработаю!

Графиня сказал Ромке:

— Садись, брат-кондрат, составь партию... А ты,— сказал он Киту,— постой полюбопытствуй...

— С чего это? — возмутился Кит и подбоченился.

— С того, что с грызунами не играю.— Графин мешал кубики в мешке. Никто не прерывал, слушали, зная, что Графиня с толку не собьешь.

— С какими грызунами? Мы что, грызуны? Нам по двадцать три года!

— А вот с теми грызунами, которые до тридцати лет с мамкиной шеи кору грызут,— ответил Графин, сдавая карты.— У тебя морда как у нищего сума, а работать не хочешь. Ишь, пришел выиграть! У меня выиграешь!

— Ха-ха! — наигранно усмехнулся Кит.— У тебя-то? У суслика пузатого?

— Я пузо на свои отъел, а если твою поганую копейку возьму, так потом руки чем отмывать — соляркой?

— Ну давай я сяду! И выиграю!

— Раньше сядешь, раньше выйдешь,— говорит Графин.

— А чо эт меня посадят? Я чо, ворую?

— Может, и воруюешь,— говорит Графин, считая банк в кепке.— Кто у бабки Цугуноцки мешок бутылок из сарайки умыкнул?

— А я?

— Ты и твои сателлиты: Ромка и Джон... Все поставили?

— Все.

— Значит, боишься меня в игру брать? — насмешливо шурит-ся Кит, доставая бумажник и высыпая возле себя горку мелочи. Графин же изобразил всем своим видом сомнение.

— Ну так и быть, садись,— сказал он.— Поживем — увидим...

— Только кричать ясно, без фокусов,— поставил условие Кит.— По кругу, по количеству карт... А то: как хочу, так и схвачу! — и подмигивает Графину.

— Проверим, зачем на твоих плечах этот безобразный чай с ушами,— говорит Графин и начинает выкрикивать номера ку-

биков: — Семью семь, футболист... Девятью девять... Без шестнадцати двадцать... Четыре в кубе — ваших нет...

— Стоп!

— ...Сады Семирамиды... Новобранец...

— Стоп, Графин Графиныч!

— Шишки-пышки — торговые излишки... И один в поле --  
двое.

Кит, заискивающе хохоча, встает из-за стола:

— Скажи, что за шишки-пышки, и мы пошли!

Вышедший из дома с куском халвы Ермолаев сразу пояснил:

— Пуд — торговые излишки! Шестнадцать!

Графин прекратил кричать и многозначительно пыхтел трубкой. Александра Григорьевна поощрительно поглядывала на его физиономию, выныривающую из дымного облака. Кит говорит:

— Пошли, Ромка, от этого... афериста...

Игра заканчивается в сумерках. Голуби гомозятся на коньках крыш ко сну. Вышла на балкон мать инженера Глебова и увезла его в квартиру, потом унесла мольберт. Это значит, что по телевизору начинается продолжение многосерийного фильма. Из окон Рязановой слышится голос ее мужа, и она уходит, потирая вымазанную зеленкой коленку и позванивая мелочью.

— Ну все,— собирает свои мешочки Графин.— По домам...

Александра Григорьевна послушно кивает головой: да, пора по домам. Ермолаев с Жуликом удаляются в сторону сараев. Цугуночка облегченно-судорожно вздыхает, освободившись от добровольной повинности, и тоже уходит, упираясь рукой в поясницу. Передний край подола ее платья из цветастой фланельки едва не волочится по земле.

Остаются Графин и Александра Григорьевна. Некоторое время молчат, смотрят на столешницу, избитую костяшками домино, изрезанную именами влюбленных. Неловкое молчание нарушает Графин:

— У тебя, Александра Григорьевна, лампочки на сто пятьдесят свечей нету? — спрашивает Графин деловито.— У меня есть, да слабенькая...

— Не знаю,— отвечает Александра Григорьевна, поднимая к нему лицо,— я в этом слабо понимаю... А зачем вам?

— Да ввернуть бы в фонарь-то на столбе. И по вечерам можно бы играть, правда?

— Ой, не знаю! У меня уж и так голова болит...

Разговор их ровен, неспешен: они не торопятся каждый к своему одиночеству.

— Болит голова оттого, что ты не выигрываешь, Александра Григорьевна, волнуешься...

— Как же играть, чтоб не волноваться? Для того и игра, наверное.

— Это точно,— соглашается Графин,— не ради копеек — общества ради. С этими телевизорами-то, как здороваются люди, позабудешь. Кто хозяин в доме? Телевизор... Ишь как Ганина баба сегодня взвилась из-за телевизора!

— Что это с Гавриилом-то сегодня? — Ее тянет к Графину, к разговорам в летние вечера, да поздно менять эту соседскую дружбу на непривычную семейную жизнь.

— Он, Ганька, сердечен уж больно...— Графин, будто стесняясь своих слов, поднял с земли щепку и поскоблил ею подошву туфли.— Экую срамоту производят с хорошей кожи... Кожа-то натуральная! — подумал и, решившись, продолжил: — Сердечный человек, прямо дурачок не дурачок, а умным назвать язык не повернется. Вот после войны сразу, когда завод этот бетонный-то строили, тут ведь и лес рядом стоял... Про нас говорили: под лесом, мол, живут, ага. Коров, овец, свиней люди держали. Ну и пастушок тут один был, Санька ли, Гришка ли Кропотов... Выстругал он себе раз в лесу палку из молодой сосенки, фонариками это ее украсил, узорами изукрасил. Вот гонит вечером стадо по поселку, а шантрапа в чику играет возле почты. Увидали палочку-то эту, навалились всем гамузом — и ну колотушку отымать. Тот кряхтит, стонет горюн, плачет, а палку не отдает. Да... Тут — я в окошко глядел — выскакивает Ганя, а было ему лет, однако, пять-шесть. Смотрю: он давай этих обидчиков пастушковых кулачками колошматить, давай их за волосья таскать! Суразенок суразенком: какая-то

на нем майка зеленущая до пят, голова ступеньками стрижена, а ишь, жалостливый какой! Кто-то ему раз да два — он с ног. Встал — воет, а сам все за пастушонка заступается, за слабого, стало быть... Таким людям надо большими вырастать, а он, видишь, какой вырос? В чем душа вмещается? В песне, Александра ты моя Григорьевна... Как весна, бывало, помойки оттают, завалинки подсохнут, так Ганька уже сидит на крылечке барака и чешет на гармошке! Старухи его подхваляют, а он и расстараться радехонек-рад... Всех парнишка осчастливить хотел. Ан нет, товарищ ты мой! На Любке вот женился — пожалел. Не все, дескать, такие подлецы, как те, с кем ты гуляла. При тебе уж женился-то, сама знаешь. Связался младенец с чертом... Так-то, брат-кондрат, я понимаю... Эхма, да не дома, дома, да не на печке, на печке, да не моя, — заключил Графин, уперев руки в колени и глядя в редкую мураву двора затуманенным растерянностью взглядом.

Александра Григорьевна вынула гребенку из волос, задумчиво погрызла ее уголок, расфокусированными зрачками поглядела, как Графин выколачивает трубку о лавочку, и сказала:

— Эх, Графин, Графин! Курили бы вы поменьше! Вы на войне начали?

— Я? — переспросил, окутываясь дымом, ее собеседник. — Мне от курения польза теперь одна, голимая... Помирать не хочу, а брось я курить, как Гриша Клюквин, и что? Да и на оркестр денег нету... А курить начал еще, когда у хозяина жил! Давненько и отсюда не видать, Александра Григорьевна... — Графин встал, поправил за поясом рубашку, повел широкими плечами. — Приказываю, — сказал он, не умея шутить, — тебе, Александра Григорьевна, идти искать лампочку в загашниках! А я пойду погляжу у сараев лестницу.

— Нет, — ответила она, — я, наверно, кино пойду посмотреть. Кино про войну. Может, увижу кого из своих! — Извинительно улыбнувшись, оправдывая свой шаг неясной улыбкой, она встала, поежилась.

— Колю Болтавина? — пробулькал Графин резниво.



— Ах,— вздохнула Александра Григорьевна, тронув бровь на груди,— Коля Болтавин, Коля Болтавин...

— Ну, вольному воля, прощенному — рай,— без обиды уже хохотнул Графин, и они разошлись по домам.

Стемнело. Светятся окна, мелькают тени людей и кошек, собак и летучих мышей, слышатся девчоночьи взвизги и разбойничьи посвисты малолетних любителей огородов, сильные, одушевленные ночью гудки заводского мотовоза. Кто-то бегают по крышам дровяников. Ближе к полуночи в уже освещенный заботами старого Графина двор дела привели Митяшу. Он подошел к столбу с фонарем и стал разгребать щебенку под ним. Вырыл ямку, достал из кармана мелочь и несколько смятых бумажек малого достоинства, положил все это в ямку и стал закапывать, прихлопывая землю, как ребенок, который строит домик из влажного песка. Из сараев слышался сдерживаемый смех. Невдалеке от Митяшиного тайника выросли силуэты мальчика и собаки.

— Эх, пофмотрите, Иваны, как гуляют тфыганы,— закричал Митяша, проходя под Ганиным окном: — Гавря-а! Гавря-а-а! — уже слабей прокричал он, вяло махнул рукой и стал уходить в темноту между домами, бормоча: — Только ферти полофаты попадаютфа одне...

К заветному столбу подбежал Жулик.

## ИСТОРИЯ С БРИТВОЙ

Девятый месяц умирал старый Александр Иванович Гуляхин. Болезнь объела его плоть, и кожа — желтая, чалдонская, — казалось, свисала пустой мешковиной с плеч. На этих плечах в начале его юности трещали косоворотки и гимнастерки, на них глянцевито играли солнечные лучи, вода Японского моря, воды Енисея и Оби. По ним любил карабкаться его единственный сын Пашка.

Долго не давался болезни Александр Иванович и иногда после инъекции морфия вставал с постели и, на страх жене Арише, маленьким мальчиком крался к окну. Он глядел в белое поле окраины, за огороды и говорил тихим голоском:

— О!.. Воронок за суметами!.. Да резво! Пашка едет, мать, Пашка... Пашка едет, Аня, Пашка едет!..

Аней звали его первую жену. Она умерла во сне от большого сердца, сорока двух лет от роду, а Пашка давно не жил с ними. Его ждали теперь уже со дня на день, и старый Гуляхин не умирал. Подолгу перебирал пальцами край белой простыни и глазами, голубыми и глубокими, как степные колодцы, глядел в неровный потолок. Пашка приехал ранней весной.

Три года разлуки для старика уже ничего не значили. Он протянул сыну ладонь, которой можно было зачищать металлические заусенцы, и произнес:

— Но брюки-то марать... Встань с коленей-то...

Жена Ариша обиделась:

— Об чо он их замарает, Шура? Чистота кругом... За чистотой я слежу.

Александр Иванович не повернул головы в ее сторону:

— Ну все, Пашка: пожил на пенсии папка твой... Отмантулил отгулял... Жалко...

— Так и все! Не надо! Поживем еще! Давай-ка закурим.

Пашка бодрился оттого, что знал, не умрет отец. Пашке дали адрес одного мужика, который спас десятки обреченных. Пашка собирался быстренько достать денег и увезти отца в Грузию на мумие, на воды, на горный ключевой воздух и поечение народного лекаря.

Отец продолжал:

— Нет, Павел, все... Хоть тебя дождался. Прости, если виноват, а я тебя прощаю... Воронка-то напоил? Больно уж коняшка хороша... Резвонькая... Где Воронок-то? — В глазах его тлела боль, таяла, выжигала голубизну. Пашка опешил.

— Какого «воронка»? — И лоб его вспотел.

— Заговаривается,— всхлипнула мачеха, и из-под толстых линз ее очков выкатились две мутные слезинки.

— Сама ты заговариваешься,— сердито сказал Александр Иванович. Язык его опух, и он смочил его водой из стоящего на табуретке возле постели фужера с водой.

— Ты, пап, не бойся... Воронок всегда сыт, напоен, нагулян...

Подозрительность, с которой старик всматривался в будущее своего сына, сменилась привычным двигательным беспокойством. Он сделал зовущий жест рукой, и Пашка понял, что его просят приблизиться.

— Вот чо, Павел: побрей меня опасной бритвой, сын... Найди где... У Мишки Чибрикова «золинген»... Так охота опасной побриться... Мать! — капризно перебил он сам себя.— Ты гляди за внучонком-то... Куды он весь мокрый по полу посеменял... Штанов, чо ли, у парнишки сухих нету? Бабье беспутное...— и снова попросил Пашку: — Так побрей меня, Паша... Ы! — Он задрал подбородок в густой серебристой опаши.

— Я мухой,— тот выскочил на крыльцо отцовского дома. Там закурил, со злостью осматривая подворье, откуда был выжит мачехой, когда еще усы не росли. Увидел, что в старой конуре

новая собака. Она беззвучно скалилась на него. За спиной услышал голос мачехи:

— У кого же опасная бритва есть? Сходи, Паля, к Бобковым. Помнишь его?

— А то не помню,— часто задышал Пашка, злясь.— Все я помню,— и пошел с горы от дома через мостик над ручьем, где летом протекала мыльная банная вода.

Пока он ходил, отец умер.

Пашка этого не знал потому, что ходил долго. Случилось так, что встретился ему младший брат школьной подружки Светы, которая жалела его и тайком от родителей писала ему письма. Пашка принимал ее кем-то вроде сестры. Была она сутуловата, нос клювиком воробьики, глаза подвижные, как у глухонемой, краснела без всякой причины, смеялась резким, захлебывающимся смехом. Пашка почти не знал женщин и имел к ним определенный интерес, но Свету обидеть не хотел. Иногда, когда она смеялась, запрокинув отягощенную косою голову к спине, Пашка боялся за ее тоненькую шейку. Ему казалось, что отличница Света вот-вот упадет, ударится оземь, и, превратившись в моль — фр-р-р! — начнет летать вокруг уличных фонарей.

Встретив ее братишку, Пашка велел ему передать Свете, чтобы она срочно пришла в вестибюль Дома культуры, где он будет ее ждать ровно полчаса. Но часов у него не было, и время тянулось томительно. Пашка ходил от колонны к колонне и читал тексты, написанные на планшетках. Вдруг на одной из них он заметил ошибку.

Он вытащил бритву, которая уже согрелась теплом его правой руки, и стал счищать мягкий знак в конце слова «тысячь». Тут к нему подскочила заведующая Раиса Федоровна.

— Это что же такое? — воскликнула она.— Это как называется? Хулиганство. Боже мой, Гуляхин! И тебя выпустили?! — кричала она, закатывая глаза к небу.

— Да вы что, Раиса Федоровна? Почему так некультурно себя ведете? — удивился Пашка, но бритву не закрыл и не спря-

тал в карман.— Тут у вас ошибок штук семь! — и показал бритвой на планшетку.

Ранса Федоровна тоненько вскрикнула.

— Бандит! — и побежала, но не падать в обморок, как подумалось Пашке, а пригласить дружинников. От ее дурости Пашке стало весело, и он продолжал ждать Свету. Потом его увели в штаб дружины, и там он объяснил свой поступок. Потом писал объяснительную явившемуся на «событие» участковому, говорил, что ждал девушку Светлану, гражданку Гранатурову. Парень он был пружина и наломал дров.

Ему не поверили, потому что замужних женщин в клубах не дожидаются с бритвами в руках. Пашка удивился, что Света замужем, и тем самым убедил командира дружины в злом умысле исполосовать Гранатуровой лицо из соображений ревности. Пашка сказал, что они дураки, что у него отец умирает и просил побрить его, старика, опасной бритвой.

— Умер твой папка-то,— сказал участковый Макар Андреевич,— умер, пока ты тут с бритвами за девулями гоняешься, лось ты эдакий. Иди сейчас домой, а бритву тут оставь. И смотри у меня, с отцом плохо ты жил, ни в грош его не ставил, а тут истерики закатываешь...

Пашка покачал головой:

— Человек ведь ты, дядь Макар... И я какой-никакой, а человек. Так скажи мне: виноват я, что мама рано умерла? Что Ариша его преподобная мне постоянно песок из бумсгов выпускала? Дядь Макар, скажи! И не отца, а жизнь свою я невлюбил! В дом-то не тянуло, вот и пошел бродяжничать да воровать! Где было ума взять? — спрашивал он участкового, который спескойно перебирал бумаги на столе.— А ему когда до меня было дело? Подумал, где я гордости хватил: не от папоньки ли родного?

— Ты бы лучше поспешил домой, дружок,— сказал участковый.— В доме-то покойник, а ты тут турсусы разводишь, человек никчемный... Виновных ищешь в своей глупости. Всяк человек ошибается, да делает выводы...

— Э! — с придыханием произнес Пашка и пошел к двери.—

Макар ты и есть Макар, пистолет с колостыми патронами...

Дружинники кинулись было за ним, но участковый показал, что не надо: не в себе, мол, парень.

Дома мачеха уже поплакала с соседками и смотрела на покойного сухо. Он лежал в той же постели, уставив в потолок белый нос. Пашка заплакал. Соседки смотрели на него с любопытством и страхом: они уже знали, что Пашку задержали в клубе дружинники.

— Отца раньше жалеть надо было,— сказала мачеха.— Где вы раньше были, добрые да заботливые...

Пашка подивился ее смелости, но ответил зло:

— А раньше, тетка, я куски хлеба, которые с пароходов выбрасывают, в реке вылавливал, чтоб с голоду не околеть...

— Я тебя не гнала,— возразила мачеха под прикрытием соседей.

— Не гнала... Да и в дом не звала... А мы гордые,— сдерживаясь, чтобы не захлебнуться в волне ярости, встал с колен Пашка.— А теперь попрошу всех выйти, с отцом дайте попрощаться...

— Прощаешься, Паля, когда еще хоронить-то будем... А сейчас нам ведь и дела делать надо... Варить, печь, продукты закупать...

— Похороните без меня,— сказал Пашка.— Много вас. А пока прошу покинуть хату! Ну!

Пашка рванул на себе ворот рубахи, и ноздри его ловили воздух белыми крыльями. Соседки, премного довольные, причмокивая губами, опустив глаза, шепчась и плача, дружно покинули дом покойного, но по домам не расходились. Мачеха протестующе начала выть от оскорбления, но Пашка схватил с плиты ведро с кипятком и кинулся пугнуть мачеху. Она с воем бросилась к миру, и ее подхватили несколько пар рук, гладили по голове, утешали.

Пока не пришла машина за покойным, никто не входил в дом.

Пашка отвез отца в морг и домой уже не вернулся.

— Русский ли ты человек? — сурово спросил его перед уходом дед Куликов. — Ты ведь нехристь какая-то!

— А кто меня знает! — играя желваками, ответил Пашка и посмотрел деду прямо в глаза. — Кто знает, если у меня не было ни отца, ни матери... Началась жизнь моя слезами, слезами ей и кончиться...

Говорили, что он утонул в Амуре. Отцовский домишко с участком тетка Ариша продала, а сама откочевала к какой-то родне под Кисловодск.

Так и не стало на нашей земле Гуляхиных.

Как под бритву.

## ПОЗДНО

У матери был сын. Жили они вдвоем в новом районе. Город стоял по обе стороны большой сибирской реки, в нем жило много умных людей, но ее сын, по ее представлению, был самым умным.

Если судить о нем по внешности, то сутулость, низколобость и мрачность наводили на мысль, что это средней руки мастеровой, склонный к болезням. Впалые желтые щеки по самые глазницы отливали синевой, как у язвенников-брюнетов. Но мирскими болезнями он не болел.

Звали сына Петром. С утра, поев вареной мойвы, он садился за письменный стол, отделанный под дуб. Петр любил этот стол: дверцы его не скрипели; ни один ящик не заедало в пазах; зеленое сукно было зеленым, как и тридцать лет назад, когда стол списали с баланса конторы, где мама Петра работала уборщицей.

По мнению закаменских девушек, Петр в юности был красив и похож на Раджа Капура. Но едва завязавшиеся знакомства мигом кончались: простых и добрых женщин Петр отпугивал чудовищной кичливостью, величавостью речей и жестов, которыми прикрывал безудержную стыдливость. А смелые женщины из кругов, почитаемых Петром за высшие, любопытствуют, бывало,— и в сторону. Панически, без оглядки. Так и не вкусив от плотской любви, он защитился от нее уходом в бессистемное чтение, в разговоры с почитателями — читателей не было, в ниспровержение земных ценностей. Что-то было в нем от скимника. Он сказал себе — земная слава бренна. Однако по ночам



ему снились женщины, он просыпался взбешенным, а вскоре брал ручку и сочинял стихотворения.

...не прячь глаза при свете лампированных...

как маков цвет твоих припухлых губ...

...луна закралась в заросли пионов...

...и шелестит под тяжестью муссонов...

...старинный парк на темном берегу...

Он плакал от восторга, нервно ходил по комнате из угла в угол, шепча:

— Ч-черт! И почему я такой талантливый?..— и смеялся беззвучно, чтобы не разбудить мать.

Если бы он не сумел убедить себя в собственной гениальности, то не вынес бы отчаяния.

«...моя душа уже пришла в движение, она не спит в бесстрастии дневном... Забудь меня! Я проиграл сражение. В воде лишь звезд зеленое брожение. В душе лишь ты, умершая давно...»

— Это ты про Валю? — еле слышно спросила мать, сев в кровати и натянув до подбородка одеяло. Она благоговела перед величием Петра и его непреклонностью. Но все же очень хотела, чтобы сын женился.

— Что? — сурово и пренебрежительно спросил Петр. — Какая, дьявол, Валя? Это из «Одесского цикла»... Цикл... Цикламены... Циклоп! Циклоп — человек, сочиняющий циклы! А нет! Я превышу все пределы человеческие!

В противоположном конце города Петр имел свою жилплощадь, то есть являлся ответственным квартиросъемщиком. Но платить за квартиру и свет ему было нечем: он уже несколько лет, как потерял интерес ко всякого рода производственной деятельности. Сын плотника, выпускник техникума, он портил все, к чему прикасались его неумелые руки, а техникумовский диплом спрятал куда-то. При всеобщей нехватке жилья его квартира стояла пустой, если не считать десятка гвоздей, которые Петр с удовольствием вбил в стены. Стоял в кухне старенький холодильник, где, по словам Петра, повесилась с голоду мышь, а ручку от молотка изгрызли тараканы.

Кто внушил Петру эту страсть к искусству? Отец, который

бросил доходную работу на стройке и пошел в оперный театр монтировщиком декораций? Или, может быть, руководитель техникумовского литобъединения, который на заре туманной юности Петра напечатал подборку его стихов в областной молодежной газете? Тогда Петр почувствовал на вкус медок славы и отработал жест: он ронял чуб на лоб, движением головы вбок и назад укладывал черно-синие волосы на место, взбивая их легонько рукой. Он хотел казаться умным и значительным. От своих просто душевных и певучих стихов он сразу отказался... Процесс учебы вместе со всеми раздражал и угнетал его. Хотелось отдельной и огромной славы. Он верил в себя.

Но что же делать, если заберут за неуплату жилище, которое он получил как взрослый член семьи, когда снесли отцовский дом? Что? И Петр пустил в нее приятеля своего техникумовского приятеля Толю Прищепова с женой Шурой, женщиной молодой, красивой и бодрой.

Случилось так, что жена этого самого Толи стала сниться Петру по ночам, вытеснив из снов всех знакомых по старым снам. Сидят будто бы он и Шура на берегу маслянистого пруда ночью. Светит луна, и между густо-зеленых вершин пирамидальных тополей мерцает огонек хаты с соломенной крышей. Такая картина, маслом на клеенке, висела над Петровой кроватью в детстве и называлась ковром. Позже ее свернули в рулон и выбросили в сарай. Ковер был чем-то мил Петру, и, когда однажды по весне сарай загорелся, он бросился в огонь и спас сначала картину, а потом уже поросенка. На солнечном дворе лица кавалера и барышни показались ему носатыми, глупыми. Они были покрыты трещинками, как сетью мелких морщин. Петр засмеялся своему детству и бросил картину в огонь.

Теперь в снах эти три милых существа: он, ковер и Шура — объединились. А снам не прикажешь. Просыпаясь, Петр ненавидел ее мужа потому, что незаметно для себя стал ненавидеть все, что было ему не дано: певцов и песни, летчиков и небо, спортсменов и крепкие мускулы. Он усмеялся сочувственно вслед свадебным кортежам, когда бывал не один. А в одино-

честве распался воображение картинами желаемого будущего. «Еще не поздно», — думал он.

Плату с квартирантов он взял за год вперед. Денежки он любил. Но, скучая по дому, ехал туда на электричке и глядел на Шуру таясь, исподлобья и коротко.

В одну из зимних ночей Петр, как обыкновенно, проснулся, подброшенный идеей. Включил настольную лампу и в полынне чистого окна увидел свое отражение. Он взгляделся в себя, словно собирался побриться.

— В Европе уже давно, а у нас только-только... — мучительно произнес он.

Кашлянула мать, прикрывая глаза от света нессохшей ладошкой.

— Ты о чем, Петя?

— Да так, мать... — Он дернулся и забегал по комнате, прихватывая себя за подбородок, наступая на края простыни, в которую был завернут.

Мать виновато сказала:

— Мойва кончается, Петя. Ты бы съездил к фатерантам, к Толику-то? А я бы постряпала чего-ничего... Пусть бы и вперед за месяц уплатили.

— Жизнь в простоте, мать, мысль на просторе!

— Дак...

— Деньги я, положим, возьму. Но с условием: ты на них себе зубы, мать, вставь! — великодушно решил Петр.

Мать отмахнулась:

— А-а... Мойву, Петя, и так жевать можно... Она мягонькая...

— Мы с тобой, мать, еще все Швейцарии объездим! Я превышу все человеческие пределы...

— Петр, Петр... — восхищенно всплакнула мать, зашевелилась на кровати, поднялась: — Пойду состирну твои носки... — Она выразительно поморщилась.

— Поэты не пахнут, — быстро решил Петр и легко уснул.

А на следующий день к вечеру поехал за деньгами.

Мать села у окна и стала глядеть во двор, где бегала де-

вочка с пластмассовым пулеметом. Двор был бел от снега, а стол, за которым сидела мать, — от чистого листа ватмана с кнопочками по углам. На белом лежали лист чистой бумаги и ручка сына.

Мать очень хотела, чтобы к доверчивому Петру не ходили люди с тощими лицами, не сочувствовали ему и не разжигали в нем злобу против родины и людей. Она чувствовала, это эти люди врут, но уличить их не могла, знала мало слов. А если б знала, то сказала бы, что они погубили сына своим зазнайством, иронией по всякому поводу и нытьем.

Электричек Петр не любил, как не любил реальной жизни. Он боялся выйти из домашних снов: попробуй-ка из комнатных шлепанцев да босиком по снегу... Он боялся удара кулаком в область сердца, хотя иногда вдруг лез «вдарить» кого-то, а обидчиками казались все. Он был завистливым трусом. Трусость и тщеславие мешали ему не только жениться, но и ходить по издательствам со своими стихами. Он боялся показаться смешным, считая себя великим.

Со стороны он действительно был смешон: нелепая фигура со вздернутыми плечами, толстая нижняя губа, шмыганье носом... И все это было завернуто в обшарпанное демисезонное пальто, в шапчонку детского размера, в разбитые двенадцатирублевые ботинки со шнурками в узлах. Он походил на нахохленную зябнущую птицу и постоянно смотрел себе под ноги.

Падал снег. Ровно, как по отвесу, ложился на детскую шапку Петра, на желтую от фонарей платформу.

В добром настроении глянул он на окна своей квартиры, подумал, как лучше попросить хотя бы пятнадцать рублей в долг.

«Здравствуй, Шура», — скажет он.

«Здравствуй, — ответит она. — Что это ты весь в снегу? Опять снег идет?»

«Снег. Прямо течет, иначе не скажешь...»

«Ну, снимай пальто...»

«А хозяин дома?» — снисходительно польстит Петр.

«Нет...»

Или: да? Ну, допустим, нет.

«Тогда я подожду. Мне с ним надо переговорить по делу».

«Милости прошу».

Петр разувается.

«Шторы-то не купили еще?»

«Шторы? Да зачем они нам? Была бы своя квартира. А так: по морям, по волнам...»

«Жми на мужика, — скажет Петр, — пусть крутится».

Шура вздохнет:

«У него одни гулянки на уме...»

«Ну? Значит не нагулялся еще...»

Что будет дальше между ним и Шурой, он додумывать не стал. Так спокойней. А если Анатолий дома? Тогда:

«Привет, Шура... Толик — привет... — и сразу пальто на вешалку. Нужны быстрота и натиск. — Ну, как? Что шторы-то не купите? Мало получаете или мало кому должны?.. Да... Деньги, деньги...»

Пока снимает ботинки, самое трудное это развязать узлы на шнурках. Поэтому лучше не разуваться, чтобы избежать колючих реплик Анатолия. Например:

«Вы, люди, не смотрите, что мы плохо одеты, у нас и дома ничего нет...»

Или скажет:

«Ладно, не надо разуваться, а то натопчешь!»

А может, и попросту:

«Ты до Нового года плату взял? Взял. Вот и приходи в срок. Не было тебя почти год — и хорошо...»

Тогда Петр скажет:

«Мне не деньги нужны. Я пришел сообщить вам пренеприятное известие: женюсь и даю вам месяц на сборы и поиски квартиры. А ты, муха, — это Анатолию, — ищи другого дурака...»

«Что ты? — закрутится Анатолий. — Ведь гений и злодейство несовместимы! Куда ж нам деваться? Ты уж стар, ты уж сед...»

А я молодой, зеленый, как трояк: брось меня в траву — потеряюсь! Дай зиму-то пережить, нахал!»

«Деньги на стол, муха!» — скажет Петр, прищурится и усмехнется, закусив в уголке рта папиросу.

И все, что ли?

Петр доел снежок, дую на него, как на горячий пельмень. Снежок был с привкусом сажи. Вытерев покрасневшие руки о подкладку карманов, Петр подошел к дому походкой премьеры, сходящего по трапу самолета.

Лампочки в подъезде не было. Или была, да не светила. Петр долго чиркал отсыревшими спичками, зажег наконец одну о панель, поднес ее к двери в поисках звонка — звонок оборван. Он опустил спичку ниже, чтоб рассмотреть номер квартиры, и увидел, что дверь опечатана. На двери был старый номер, который он, Петр, пристроил три года назад, родной номер. Спичка погасла, и он потрогал руками то место дверной коробки, где отчетливо осязалась полоска бумаги с какой-то подписью на ней и сургучной блямбой.

— Дьявол! — растерялся Петр. Замер, глядя в темноту под ногами, потер подбородок. — Дьявол...

Позвонил в соседскую дверь, там жил сварщик Володя из домоуправления.

— Кто? — слышался вопрос из-за двери.

— Это я, Володя, Петр...

— Какой Петр? У нас все дома... — но уже загремели засовчики, щеколды, цепочки. — Ты, что ли, Петяшка? Как снег на лысину! Какими ветрами? Заходи, заходи...

— Чего ты на сто запоров запираешься? Машину, что ли, выиграл? Стук-бряк! Как в госбанке... — Петр желал попасть в тон. — Здорово!

— Здорово! — Володя с любопытством сорокалетнего выжиги оглядывал Петра. — Ну, снимай спецовку...

— Я ненадолго. Скажи, Володя, что случилось? — начал он, но Володя и сам уже кивал головой, улыбался, похлопывал Петра по плечу: сейчас, сейчас... Он позвал: — Катя! Катерина!

Из дальней комнаты вышла маленькая с круглым носиком его жена и подозрительно уставилась на Петра.

— Не признала? — спросил Петр якобы по-народному. — Богатым стану...

— Николай, что ли? — отчужденно глянула на него Катерина, но сделала два шага вперед.

Тогда муж пояснил, восторженно глядя на эту сцену:

— Петька же это! Сосед наш из горелой квартиры!

— Какой, какой? — заинтересовался Петр. — Ка... Какой, какой квартиры?

— А-а... — отчуждения на лице Катерины как не бывало. Его сменило выражение родственной жалости, соболезнования. — Петя! Как не узнать — Петя...

— Горелой, — попросту повторил Володя. — У тебя ж хата-то выгорела...

Петр замахал руками:

— Постой, постой: давай по порядку! Что значит «выгорела»? Когда? Где квартиранты?

— Короче! — Володя показал руками «стоп». — Под полом у тебя загорелась электропроводка. Это было... это было... Когда? — рывкнул на жену.

— После Октябрьских!

— Да... А дым-то по пустоткам к нам потянуло! Тяга! Окна на кухне открыть не могли...

— Дым! Газ! Бабушка на четвертом этаже...

— Короче! Орлы в противогазах прибыли и что? Вси, — Володя взял Петра за рукав и потянул на кухню, — видишь свежую краску? Так они сначала у меня три доски из пола вырвали! Топориками — хрясь, хрясь! А плинтус попробуй найди. Попробуй найди плинтус!

Петр желчно смеялся.

— Подь ты с плинтусом! — сказала жена и легонько ударила Володю кулачком по плечу. — У человека беда, а он: плин...

— Короче! Дошло до них, что у тебя горит, доехало! Понял? Ну — бзынь на звонок, бзынь — а кому? Деду Фому? Квартиранты твои с полгода как в Минусинск — ф-р-р-р! Тю-тю! Ломай,

ребята, двери! Бум! Нету замка! Дверь — чпок! — открылась! А там: бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно... Они думали, огонь, и давай эту пену-то гнать: не жалко!.. Казенная!

— Короче,— сказала Катерина,— пол в большой комнате весь — долой, на кухне доски две-три — долой! А тут, говорят, как на полигоне: пусто, спасать, мол, нечего...

— Да, короче! — отмахнулся от нее Володя.— Опечатали тебя. Домоуправша Машка давно на эту хату зуб точила... Говорит: райсполком заберет площадь. За нее годами не плачено, какие-то люди без прописки живут: зы-зы-зы-зы. Понял, Петяшка? Ну ты дурак! Доверчивый-то почему такой? Тебе ж сколько: сорок — сорок пять? Ну? Мек-мек-мек...

— Ну, люди! — негодовал Петр, топая по тропинке к станции.— Ну, люди! Это ж надо так придумать! Мухи! Мухи! Дьявол...

Его одолевала черная обида на людей, живущих по непонятным ему законам, мало мучающихся своими ошибками и мало радующихся удачам. Они копошатся в гигантских городах на тропинках от дома до работы с сумками, с детскими колясками, с ранними огурцами или поздними цветами. Он не знал, как жить дальше, и боялся сознаться себе в этом. Он знал, что не будет бороться за квартиру, и даже чувствовал облегчение оттого, что теперь может сосредоточиться только на столе в материнском закутке, где он будет окружен всегда новой лестью своих старых почитателей. Он не считал их ущербными.

— Он был молчаливником искусства! — оборачиваясь к своему бывшему дому, звонко и зло сказал Петр, втянул голову в панцирь пальто и зашагал навстречу дню своего рождения.

У него была мать. И только потому не умирала, превысив все пределы человеческой усталости, что не на кого было оставить дитя.



## НОЧНОЕ ЗРЕНИЕ

Наше детство было послевоенное.

В тупике улицы Аренской, на ромашковой поляне, лежал убитый грач.

Белоголовый мальчик в оранжевой рубашке и новеньких сатиновых шароварах легонько наступал грачу на грудь лакированным банмачком, и мертвая птица приоткрывала клюв:

— Кр-а-а...

Мальчика звали на улице Санькой Облезлым. Его бледное лицо и руки были покрыты лишаями. Лишай он подцепил, купаясь в пруду вместе с коровами, козами, собаками. Купаться можно было и в котловане, но вода в нем все лето холодная, а Санька боялся судорог. В болотце же вода шелковистая, бордовая, у берега лягушачья икра и кувшинки, а выйдешь на берег — ступай на коврик травы, вытканый желтым куро-слепом. Никто из нас не умел лучше Саньки строить шалаши, ловить ужей и сажать их в пустые бутылки. Только он мог вырезать из березового корневища пастушескую колотушку. А лакированные туфельки купила Саньке любящая мать на деньги, заработанные им летом прошлого года. Он пас частное стадо: чуть больше десятка коз с козлятами, козла Агу и двух коров, одна из которых комолая. В то лето, о котором я рассказываю, Саньку не пустили пастушить: однажды в сильную жару у него пошла кровь носом, закружилась голова и помутилось сознание. Очнувшись, Санька увидел рядом морду пса Кири, доедавшего обед из пастушеской сумки, а сил, чтобы отогнать собаку, не было.

Санькина мама, гордая Галина, сильно плакала, провожая Саньку в больницу: недавно она схоронила мужа, который привез их сюда с одного из тихоокеанских островов, а сам умер от ранений.

Товарища нашего положили в городскую железнодорожную больницу и определили «плохую кровь». Об этом быстро узналось, и, когда Санька вернулся, мы со страхом и неприязнью вглядывались в синие прожилки под его тонкой кожей. Их было видно, как на учебной схеме.

В то же лето Санька исхудал, вытянулась его шея. Он отказывался пить молоко, и у него появилась страсть к накапливанию денег. Он собирал и сдавал бутылки, тряпки, кости, металлолом, пижму, майских жуков и божьих коровок. При этом всегда был опрятен: в чистой рубашке, шаровары на резинках и лакированные туфельки. Денег он никому не одалживал даже в дни триумфального показа кинофильма «Тарзан».

Часто утром и вечером, когда солнце гладит, а не бьет, он лежал на крыльце своего сарая, и незабудковые глаза его смотрели в сторону карьерных отвалов, похожих на лунные цирки. На их склонах цвел клубничник, а между склонами уходила к лесистому горизонту дорога. Раз в месяц по ней проезжал Ахмет-цветмет, молчаливый татарин. Прибывал он на мешком прихлопнутой кобылке-лилипутке, запряженной в телегу с сундуком. Этот грубо сколоченный ящик вмещал множество радостей для детей и женщин рабочего пригорода. Тут были фурнитура, шары-пищалки, рыболовные крючки и бумажные пистоны, анилиновый краситель, погремушки и что-то еще, нынче забытое мной.

Ахмет-цветмет ставил кобылу на нашу ромашковую поляну и вешал ей торбу с овсом. Воробьи садились на морду кобылы, и Ахмет отпугивал их русскими проклятьями и кантарем, который держал скрюченной левой рукой. Лицо, черное и худое, вечно серебрилось щетиной на подбородке. В глаза Ахмет никогда и никому не смотрел, хотя всех знал и прибетствовал.

В ту неделю Санька ждал Ахмета особенно.

Весь двор знал, что в Санькином сарае под висячим замком

лежит целая груда развороченных былыми взрывами медных гильз. Он добывал их в неведомых местах, далеко за поселком. Чтобы привезти эту медь, он несколько дней мастерил тачку. Сколотил кузовок в стройцехе, приделал к нему ручки, достал колесо от маховичка, аппетитно смазал солидолом ось — готово. Многие родители говорили своим:

— Ишь, Санька-то Облезлый — мужик! А ты? У-у, обормот!..

И наше товарищество дружно объединилось против Саньки. Однажды «кто-то» вытоптал и перерыл его огород в поисках легендарной банки, где хранились деньги. Он сам говорил, что хранит деньги в банке. В другой раз «кто-то» вспугнул с корзины наседку и частично побил запаренные яйца. Потом мы решили выследить места, где Санька приискует. Однако пока мы утром куксились и одевались, Санька уже возвращался домой свежий, умытый и гладко причесанный. Он шагал по Аренской, катя перед собой груженую тачку. Груз был прикрыт влажной мешковиной. Подавленная любопытством, наша команда распалась, мы тянулись к его сарайке глядеть на свежую горку цветного металла. Это он разрешал.

В кругу его завистников командиром был я, сын каменолома, к десяти годам прочитавший все имевшиеся дома подшивки «Огонька» и «Угрюм-реку» в роман-газете, чем напрочь поразил соседей по бараку. Меня обожали соседские девочки-двойняшки, чьи имена я забыл. Здоровья моего хватило бы на трех Санек, вместе взятых: камни метал выше всех, чудесно стоял в воротах, по-собачьи переплывал пруд у бани туда-обратно и потихоньку привыкал к местной славе. Теперь думаю, что спасением своим обязан отцу. Он, замечая нравственные перегибы, нещадно лупил меня моченой веревкой, а то и презирал, что было всего больней. Посмотрит в окно и скажет:

— Смотри-ка, мать: опять Облезлый что-то стругает... А наш богора-а-ад — тьфу!

Что такое богорад? Вряд ли это слово имело смысл для кого-то, кроме отца: он был из кержаков и не матерился, а мог сказать обычное слово с каким-то очень обидным значением. Обида

моя была направлена против Саньки, я решил мстить, не понимая, чем же этот Облезлый лучше меня.

Однажды с вечера моя команда заготовила провизии и мажорки, а поутру мы последовали за Санькой, держась далеко позади, но не выпуская его из вида. Но иногда мы только слышали, как в утренней тишине скрипуче поет колесо его тачки.

Облезлый шел по-рабочему, тяжело сутулясь над рукоятками, а иногда принимался бежать. Разгонится и даст кругая по дороге. Наклонит корпус внутрь круга, расставит руки, согнутые в локтях, над тачкой и кружит, как кобчик над птичьим двором. За поселком нас скрыло розовое поле гречихи, вскоре одежда пропиталась росой и хлюпала, жирная черная земля грязью сочилась сквозь пальцы босых ног. Всех колотила дрожь. Пришлось выждать, пока Санька спустится в низину, куда уходила дорога, и только тогда выскочить на глянцевое тепло проселка.

Я обернулся — красный флажок сигнальной мачты еле виднелся за отвалами. Мы ушли далеко от дома. Двойняшки наломали чернобыла и березовых веток, разостлали их прямо на дороге, и все мы, посиневшие от росного холода, улеглись и тесно прижались друг к другу. Солнце еще и наполовину не выкатилось над нашим краем. Мой заместитель Юра крутил козью ножку, и руки его дрожали, а табак сыпался на землю, но уже начинали гудеть столбы вдоль дороги, и невидимая в кустарнике пташка спросила: «Петя-Петя-Федю-видел?» Юра сонно читал газетные сообщения, держа козью ножку у самых глаз. У него выходило что-то такое: «...роизвели испытания яд... из маневров сторонников хол...» — «Холеры!» — комментировал он. Двойняшки дружно повизгивали от восторга. Тогда я решительно вмешался в эти развлечения: послал Юру выследить и доложить. Раздувая ноздри и преданно пожирая меня глазами, он выгнул грудь колесом, приложил руку к козырьку рваной шестиклинки. Потом щелкнул босыми пятками так, как показывали в кино, и пустился в путь. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути я нашел его мирно спящим на том самом месте, откуда он только что ушел.

А пока девчонки рвали голубой цикорий вдоль дороги. Я сам с собой играл в «солдатики». Чуть позже мы расправились с большей частью съестного, и солнце уже пекло вовсю, а Юра не возвращался. Девчонки захныкали, что простудились, что попадет от мамки, и побрели, как две монашки, к дому.

Дальше я пошел один.

Миновал околок. По следу тачки вошел в другой, с заболоченными низинками. С каждым шагом я все отчетливей понимал, что боюсь. Просто обмираю от страха. Родители, боясь, что мы заблудимся в лесу, пугали нас рассказами о пожаре в городском зверинце, откуда разбежались по окрестным лесам кровожадные звери. Стращали нас и вампирами — только б не ходили в лес. Я тут же сделал вывод, что Облезлый вампиров не боится: кому нужна его плохая белая кровь? И решил вернуться домой со сладким ощущением, что только я один знаю о собственной трусости. Я раскис и начал паниковать: я блуждал в буреломе осинника, ухнул в заросший папоротником овраг, где могли водиться змеи; мне хотелось кричать, звать маму, болеть и умирать на ее руках. Я бы кричал, но что-то похожее на гордость мешало подать голос. Ноги несли напролом через чавканье болотистой низины, треск сушняка и мягкие обвалы зеленомшистых кочек. В горячке страха я выскочил все же на тропинку с влажным следом тачки и увидел впереди прогалину. Кроме своего громкого дыхания, я услышал будто бы плеск воды. Потом первый человеческий голос:

— Бу-бу-бу,— бубнил он бубном.

Ему вторило:

— Тень-тень.

Пройдя еще немного, я раздвинул кусты калины и увидел лощину, внизу которой блистало небольшое круглое озерцо. На берегу сидел Облезлый. Он пошевеливал палочкой тлеющую костровище, и я уже чувствовал запах гари. Облезлый смотрел на воду неподвижно, окаменело. Лакированные туфельки висели на ветках ивняка. И только страх стал отпускать меня, как из воды с ревом пружинисто вынырнул голый бородатый мужик. Он выскочил на берег, подняв руки высоко над головой, и в

увидел, что за ним волочится длинный хвост! Тут же за моей спиной послышалось шумное дыхание и треск. Какая-то сила подбросила меня, и, закрыв голову руками, я понесся к озерцу.

Помню только, как колотил лохматого мужика кулаками, ногами, а он скалился, отворачивал лицо и, поддерживая кальсоны руками, говорил:

— Эшшь, ты... Эшшь, ты такой отчаюга... Не бей Проню... Проня хороший... Ну-ну-ну... Ну-ну-ну... Эшшь ты, перхоть ты земная... Не бей Проню... За что?

Я бился в его руках, плакал, когда понял, что хвост это не хвост вовсе, а пастушеский кнут, которым были подпоясаны кальсоны мужика. Он же укутал меня пиджаком, мятым и продыmlенным, подложил под голову свои сапоги и пристроил у костра.

— Шает, шает... Еле пилигат,— сердился он на костер,— а парнишонку колотит. Эх, ребята-ребятешь, с вами точно пропадешь! Давай-ка, Шура, сходим за дровишками,— и пошел наверх, напевая что-то про Шурочку и тужурочку. Облезлый, отпугнув корову, что приплелась за мной из лесу, достал из кармана коричневый жмых и протянул мне:

— Хочешь?

Я взял, все еще громко шмыгая носом.

— А ты всамделе смелый,— завистливо сказал Санька.— Как на Проню-то кинулся! Ровно Чапаев! — Он светлоглазо потупился, потом пошел за Проней вслед, но обернулся и посмотрел на меня тревожно и испытующе.

Подошла корова и шумно обнюхала рваные гильзы, добытые Проней со дна озерца. Все смешалось в моем едва не помутившемся сознании: это длинное утро, скрип тачки, двойняшки, исчезнувший разведчик и розовое гречишное поле, леший Проня и кнут хвостом.

Спал я, видно, недолго и крепко, а пробуждаясь, услышал неторопливую речь Прони:

— ...Почему не одним и другим поровну? А? А то ведь

одним — все, а другим что? Один и лицом красив, и талант имеет, а другой — нос картошкой, глаза горошкой... Вот оно, счастье-то, ему и не по нюху, и не по глазам. Чем же он, брат Шура, некрасив? Кто ее обрисовал, красоту? Ты ее, милую, в стандарты ли, в гости ли загнал? Или я? Нет, Шура... Правильная красота — добрая... Вот ты же не думаешь про свою мамку, что она некрасивая?.. Или... Или про опята? А ведь мухомор куда как красивее...

— Не знаю,— тонким голосом отвечал Санька.— Ей-богу, ничего не знаю...

— Ладно,— продолжал пастух.— Давай-ка нам, страхолюдным, автономию, и кина вашего не надобно! Давайте!

— Я-то скоро помру, Пронь...

— Не помрешь, я средство знаю...— заверил Проня.— Слушай дальше. Вот бы и собрали нас во один город, брат ты мой. Собрали бы нас, пожили бы мы, попривыкли дружка к дружке. Ну. Все несчастья бы свои позабыли и стали бы дружка к дружке подходить? А? Ты как на это смотришь?

— Эх!..

— Эх... Вот те и эх — глаза вразбег. То-то и оно, что все бы сначала и завертелось. Тут, хоть круть-верть, хоть верть-круть, милый... Все бы как есть и отобразилось... Средь нас бы свои красивые и некрасивые завелись. А почему? Отвечу: потому, что не мы это завели. Жила бы красота с сердечностью — все бы спасла. Вот и вся химия, сынок... Хоть множь, хоть дели... Дал нам предок жизнь — живите, радуйтесь, молитесь брат на брата. Так?

— Ага, Проня. Хорошо.

— Вот! Хорошо спешись — не торопиться. И я говорю: светлый у тебя уменок, Александр...

— Вот и меня, Проня,— зазвенел Санькин голос обидой,— и меня, Проня, убили мериканцы своим атомом... А что за атом? Как он в меня попал, раз меня и на свете-то не было?

— Как не было? Выходит, был. Все люди, как узелки на одной ниточке. Как ее ни брось, как ни скрути, а за кончик-то потянешь: все мы тамо. Ты, сынок, про смерть и не думай, и на

могилку я к тебе, Шурка, ходить не буду. Врачам не верь, и сам себе беду не выдумывай. Зачем себя расквасил? Люди те, у кого молоко-то на Сахалине брали, они ведь живы, не померли?

Санька спокойно возразил:

— Откуда ты знаешь?

— Откуль, откуль! — рассердился Проня. — Знаю откуль. Газеты-журналы на что тогда? А-а... Вон мои дуры бруцеллезные ходят — им хоть трава не расти: один бес, хозяева накормят... А человек — он сам себе голова. Я вот на войне три дня и три ночи в болоте высидел. Разведка полковая. Что думаешь: просто? А комары? А шевельнись — так прошьют с пулемету! Нет. Я просидел. Знаю: жена и двое сынишков в Починках ждут, под Смоленском. А их уж и в живых не было... Ах, братчик! Что ему, сердцу-то, край не указан? Где силушку брать на тук-тук да тук-тук... Нет. Живу. Зимой в бане кочегарю, летом коровенок пасу. Все меня в хуторе любят... Жи-и-ву...

— А можить?.. Не-а... — Санька привстал, но застонал тоненько и замолк. Привстал и я потихоньку. Мне было стыдно за себя утреннего, вчерашнего и бывшего. Проня чистил картошку, испеченную в горячей золе, и горкой укладывал ее на газету. Там же лежали невызревшие бурые помидоры.

— Не-е... — снова сказал себе Санька и мотнул головой. Но тут его будто вновь осенило, он аж радостно прихлопнул в ладони: — А можить? — начал он звонче и радостней, чем в первый раз. — Можить?.. — и опять помрачнел: — Не-а...

— Да что «можить»-то, что «можить»? — спросил Проня, переставая солить помидоры и запястьем руки придавил на лице разбухшего комара.

— Нет, — насупился Санька. — Я подумал: можить, ты на моей мамке женишься, она красивая. Мюллер дядь Степа за нее сватался. Она: нет, зачем мне такой? Он, говорит, никогда не смеется, говорит...

Тут Проня, будто ища помощи, повернулся ко мне и сделал страшную мину. Ему было лет, наверное, тридцать восемь, но тогда он казался мне древним стариком.

— Проснулся, казак? Вставай. К нашему пожалуй шалапу



хлепать лапшу. Ты спал, а мы тут с Шурой вон лягушек на пер-  
во наловили, а на второ — мышей намышковали... Будешь?

— Как все,— бодро ответил я, хотел улыбнуться его шутке,  
но кожу стянуло высохшими слезами. Я пошел было умыться  
в болотце, но Проня закричал предостерегающе:

— Эй-эй! Стой, казак! Нельзя. Тут бруцеллезные коровы  
пьют. Кто ее знает? Случись что!

— А вы как?

— Так то я.

— А я не боюсь,— хорохорился я, желая ложью покрыть  
утреннюю трусость.

— Эшь ты!

Я так и не признался, что утром испугался невидимой коро-  
вы, и сам поверил, что спасал друга от лешего.

Мы поели, улеглись на солнцегреве. Проня громко запел про  
охотника, который гуляет в островах, и вместо зверя находит  
испуганную красавицу Венеру. Санька тянул шею, подпевал ему.  
Пели они так звонко, с незнакомыми искренними вывертами, что  
и я почувствовал потребность подпеть им.

— Вы, наверное, по нотам поете? — высказал я свою тайную  
мечту.

Проня глянул на меня удивленно и настороженно:

— По нотам? По нотам пусть поют, у кого таланту нет. По  
им и козу можно научить, а толку-то? Бе-е-е да бе-е-е! Все одно  
и то же... А мне нравится... Слышь?

Пастух поднял к небу указательный корявый палец, и, как  
дождь, на нас обрушилось поднебесное пение птиц...

С той поры прошло немало.

И поныне бессонными ночами я мучаюсь мыслью о том, поче-  
му сознание общего горя роднит людей, а общее благоденствие  
разъединяет с природой и с себе подобными. Чем отличается вы-  
ражение «живем не лучше других» от «живем не хуже других»?  
И почему во втором звучит будто бы гордость, а в первом — за-

висть? А сказать: живем, как все живут — значит, скитрить. Ведь каждый считает, что достоин лучшей судьбы.

Часто в бессонницу я гляжу во тьму и думаю, что тьма это тоже вроде свет, только черный, и чтоб научиться видеть во тьме, необязательно быть филином. Вот я вижу на ромашковой поляне мальчика в лакированных башмачках. Он легонько наступает на грудь мертвого грача, словно хочет найти в нем жизнь после смерти. Грач мертв, но произносит: «К-р-ра...» — и тем приводит мальчика в глубокую задумчивость. Это стоит в моей памяти Санька Облезлый, который копит деньги на собственные похороны. Моя же команда работает на свалках авиационного завода в поисках утильных сокровищ, ныряет в мутную воду балок, где взрывали когда-то боеприпасы при отступлении. Мы сдаем сокровища Ахмету, а деньги копим, чтобы отдать их Санькиной матери для поездки на курорт. Тряпичник Ахмет осенью привез Саньке фланелевое с цигейковым воротником пальто, подарок конторы Утильсырье лучшему сдастчику цветных металлов. И мы еще не знаем, что никакой конторы не было, что подарки слал ему через Ахмета страшнотлицый Проня, размышлявший в тишине околков о вечных материях.

## ОДИНОКО

Маленькая деревня, серая, скучная, по огоньки окон занесенная снегом. Электрические лампочки из-под толстых белозамшевых стекол с улицы кажутся тусклыми каганцами, а светляки телевизоров добавляют зябкости в и без того промозглую студень улицы.

Словесник Владимир Иванович Охотников возвращался из школы после телефонного разговора с далекой мамой. Она ободряла: «Володя, ты привыкнешь... Деревня — мать человеческая... Ты, Володя, к людям присматривайся, ведь ты им нужен...»

— Ты, мама, королева газетных штампов,— смеялся учитель.— Дотяну до весны, ничего...

Охотникова отчислили с третьего курса университета за неуспеваемость. На успеваемости сильно отразилось увлечение лучшей актрисой гуманитарного факультета Аней Вотинцевой и рабское служение ей на протяжении первого семестра. Он бегал по магазинам в поисках дефицитных гитарных струн и сигарет, зашивал часто рвущуюся обувь Ани и выполнял множество поручений.

В декабре Аня вышла замуж за президента клуба самодеятельной песни и стала президентшей, а Володя завалил сессию, пошел в районо и попросился в самую глухую деревню, чтобы наказать себя за ошибку в выборе подруги, а летом восстановиться в университете, уже обладая жизненным опытом...

Под фонарным столбом Володя вытряхнул снег из валенок. От заброшенной бани, обнявшись, ему навстречу шли двое. Таронова и Городовиков, очевидно. Восьмой «А», подумал он и

свернул в проулок, где стоял дом хозяйки на бревенчатом восьмерике. Его ждала вкусная простокваша, лежал на круглом черном столе недочитанный томик Платонова и аккуратная стопка сочинений на тему «О чем я сказал бы другу». Уже возле дома вспомнил, что надо бы откидать снег с дорожки до уборной, на которую было тоскливо смотреть. На Володю выкатилась соседская коричневая собака, маленькая, кривоногая, доверчивая. Говорили, что прошлым летом она сломала ноги. Володя пообнимал ее, понянчил на руках, отворачивая нос от ее горячего псиного дыхания, скользя взглядом по крупнозвездному небу. И, еще ни разу не почувствовав себя нищим, с горечью думал: чего бы ей дать, чем бы порадовать...

— Учитель! — услышал он стариковский голос. — А, учитель! Слышь, парняга...

Возле ограды дома напротив стоял старик Малых. Стоял столбиком, как суслик, слушающий чужие шаги. Володя увидел, что шапка его припорошена снегом. Свет желтых ламп падал на старика из высокого окна, и видно было, как он подергивает рукой, будто проверяет закидушку: сюда, сюда.

— Случилось что? — направляясь к нему, спросил Владимир Иванович.

— Случилось... — подтвердил старик. — Зайди...

Они встали лицом к лицу.

— Что случилось? — спросил еще раз Володя вежливо.

— Зайди, — сказал старик, выбив шапку о калитку, — одиноко мне...

— Плохо, — понял Володя. Его учили уважать стариков.

— Плохо, — согласился Малых и пошел впереди учителя, помогая себе батоном, как слепой.

В горнице у старика пахло растительным маслом. Разуваюсь, Володя видел, как на лысине старика тает снег и долго путается водяными каплями в морщинах лба и щек: неужели не чувствует?

— Садитесь, — старик указал на стул возле накрытого стола. Со стен глядели портреты Ньютона, Коперника, Менделеева. На столе — холодец, капуста, варенье, домашний хлеб и неполный

графин из розового стекла с узором в виде виноградных гроздьев. Старик Малых смотрел в глаза Володе с любопытством, с веселым прищуром: гадаешь, мол, что за случай?

— Здравствуйте,— сказал Володя, протирая очки.— Так что?

— Ты присядь, присядь-ка за стол... И скажи мне, учитель, зачем старым жить? Жись прокаруселишь, узнаешь все — и на тебе: смертушка-старушка... Ты тутошний?

— Я из Новосибирска...

— И мать с отцом городские?

— И дед,— добавил Володя.

— Как фамилия?

— Охотниковы,— учитель поймал себя на невоспитанности и спросил быстренько: — Извините, а как ваше имя-отчество?

— Николай, брат, Анкундиновичем зовут... Вот я про Ванюшку, дружка своего любимого, хочу спросить тебя, Владимир Иванович. За простого считался в деревне. Пока тут жил: сам радуется и деревенским радостно, а плохо ему — никто, брат, не знает... Уехал, и незвонкая жизнь стала, как без мамки. А ведь в дураках ходил, пока тут жил.

Он пошел к комоду, крашенному желтой половой краской, и достал из ящика картонную коробку из-под обуви.

— Поглядим сейчас на тебя, Ваньша. Мы тебя, раскудрит твою комар, на стрежь-то выволокем,— рылся он в коробке, вываливая на стол старые почетные грамоты, кусок почерневшей пемзы, мутные любительские фотографии, позеленевшие медные значки, пуговицы военного образца и пластмассовые и роговые гребни — скобки, в которые взята его жизнь.

— Где, думаешь, Ванюшка? — протянул он фотографию учителю.— До Кенигсберга прошел... Где он тут?

Учитель посмотрел в смелые глаза фронтовиков, стоящих у «опеля» в обнимку, подумал и указал на маленького, чубатого солдатика с перевязанной рукой.

— Он,— засмеялся, закашлявшись, Малых, тыча коротким пальцем-утюжком в черные зрачки фронтовика, утирал глаза ру-

кавом и отмахивался от фотографии, как от наваждения: — Он... Ваня Понькин, заединщик мой...

Пересел, подвинув под собой стул, ближе к учителю:

— Видел, баня за школой стоит? Тут его дом стоял. Не деревянный. Тогда у нас или рубили дома, или из самана клали. Да и землянки кое-кто делал, а этот засыпной. Ваня приехал с фронта по ранению, сходил к председательнице: я такой-то, желаю жить в вашем колхозе — тогда колхоз был, — дозвоьте дом ставить. Та и посадить-то его не знает куда, ждем, мол, поможем, всем миром. Зачем, говорит. Я вроде бы сам... Вот только за женой съезжу... Уехал, с месяц не приезжал. Оказалось, аж под Тамбов ездил, вернулся, паря, с красавицей Настасьей, а через месяц и дом готов. Так себе домишко, но свой. У нас бабы, как увидели Настасью, так и поджали губы: да статная, да румяная, да гварит-то как-т нараспев, слов-т попросту не молвит, улыбается. Детей с ними двое... Выпьем, учитель?

— Нет, спасибо... Желудок у меня больной.

— Эка... Молоко с медом надо... С таких лет — желудок... А детишки-то на Ваню ну ни мозолью не похожи. Он как малек: верченый-крученый, щуплый и этакий белокурый, а варнаки — копчененькие, больше на нее похожи. Ну а деревня сбежалась добро смотреть, а добра-то: два узелка да швейная машина, но сережки в Настасьиных ушах — золотые. Время — май месяц, только Победу отславили. Сижу я единова дома, сбрую чиню, вот примерно, где ты сидишь, тут. Тук-тук — в дверь. «У нас все дома», — говорю... Заходит Ваня весь в медалях, дух, как от парикмахерской, тьфу ты, думаю, индюшья стать! Ну, здравствуй... «Здравствуй, — и сразу на меня: — Ты, я слышал, из хлебобобского племени будешь?» Я ему: «Говори, зачем пришел?» Он помялся, вроде губы облизал эдак. «Ты бы, — говорит, — Николай Анкундинович, обучил меня крестьянствовать...» Вот тебе раз, а вот на тюрю квас... Как же я тебя научу, героя, если вот с таких лет этому обучаться надо? «Да ты, — говорит, — хоть косою махать научи... Покосы скоро начнутся, в покосы надо ломить да ломить, а я, дескать, горожанин, по специальности взрывник...» — «Чего ж в колхоз понесло?» — «А лю-

бовь,— грит,— кормить хорошо надо, тут хозяйство заведу». А какое, учитель, после войны хозяйство? Налоги боле... «Ну, ладно,— говорю,— сначала мне покосим, состогуем, потом к тебе пойдём. Научишься». Вперед ишо общий покос. По ровному — машины, а на болотах только косарям идти. Там, думаю, язык-то выпялишь, научишься... Вот пора косить... Угодья тогда были возле Губинского ключа. Знаешь? Так тебе откуда знать? Километров за шесть от нас... Ну, приехали, шалаш поставили, дымокуры от комара — дело к вечеру, выпили, а утром до солнышка — давай косить. Гляжу: мордочка у него с кулачок, губы эдак все облизывает. Вжик-вжик литовкой, а она — козырь да козырь в землю. Но молчит, тянет. Худо-бедно, пошло у него к обеду только, да и то мужиков насмешил, орет: «Мужики-и-и!» — вроде по ноге литовкой чиркнул. Я к нему: чо? «Гнездо-о!» — «Ну гнездо и гнездо, чего блажить?» — «Так в ем же птица», — показывает, встал как статуя. Мы дальше уходим. «Чего она не летит, мужики?» — головушку ей смахнул, перепелке-то, и не заметил, нагнулся, рукой — цап! — да как от себя кинет и руки травой вытирает, фронтовик, корень его изломай...

— Вы сами-то не воевали? — спросил учитель, чтобы отогнать дрему.

— Нет. Биография у меня плоха, и грыжа, кила по-нашему...

— Понял,— учитель глянул на часы.

— Да постой, хоть помидорок вот поешь, варенья... — Старик встал.— Я что сказать-то хочу? Сколько лет меня господь по земле водил, а чтоб мужик так жалел свою милую не видал... На том же покосе: все самокрутки в небо и спать в самый-то жар, а он к Насте в шалаш гомозится. Смеемся: угробишь, Стюра, мужичонку, он себе дорожку к могиле выкосит, ежели от юбки твоей не отлепится... Она: «Не знаю, дескать, что делать?» — «Ты,— говорят,— вот что сделай, Стюра: уйдут они вниз, к озеру, ты запрягай рыжуху — и в деревню. Убеги. И он утешится, и детишки, поди, там со старухой Фролкиной в соплях путаются! Чо она, слепуха, может?» Настя и сделай так.

И что? Ваня пять верст за повозкой бежал, догнал у деревни, завернул.

— Она красивая была?

— Первейшей красоты,— гордо ответил старик, будто не Ивану принадлежала Настенька, а ему. Он раздул ноздри, будто собираясь нюхнуть табаку, весеннего духа молодости, и пояснил виновато: — Чтой-то подступило,— поднял растопыренную волосатую пятерню к левому лацкану пиджака, махнул ей и сказал: — Настя была первейшей красоты женщина... Настя, Стюрато, когда погибла, мы думали, и Ваню хоронить придется. Не плакал, а чернел как головешка... На глазах.

— А что случилось? — спросил учитель, заволновавшись вдруг.

— Прихожу к нему снова, дружками уж стали, я ему вроде компандера по крестьянству был, он меня, брат ты мой, слушался... Ну, прихожу. Насти нету, а Ваня сидит и глаз с печи не сводит, эдак мне палец к губам: тихо, мол. Смотрю: у него к пальцу суровая нитка привязана одним концом, а другой конец за маятник. Ходики у него над головой. Сидит он и пальцем: туда-сюда, маятник двигает. Оказалось, Настя ушла телка привязать на выгон, а ему наказала через десять минут хлеб из печи достать. Часы сломаны, ну и сообразил Иван: маятник маять. Посмеялись мы этак же, нитку я у него отнял, стали хлеб допекать. И — гроза. Ребятишки с улицы прибежали мокрешеньки, шась на печку. Гром, молния. Не пойди она тогда на выгон, и по сю пору бы жива была, и дружок мой... — голос Малых опять ушел в глубину горла,— сидел бы сейчас со мной тут вот... Вот и хлеб, вот и взрывник...

— Ее молния?.. — участливо спросил учитель.

— Она... Настя на плече железный штырь несла...

— Который в землю вбивают?

— Но!.. Он и притянул...

Учитель сдержанно вздохнул и сказал:

— Да. Такое бывает...



— Бывает, бывает,— повял старик. Учителю показалось, что старик сожалеет о поведанном ему, чужому человеку, и он решил не быть безучастным:

— А Иван-то что?

— Бился он тут, шибко бился в бедности с Настинными детишками. «В люди,— говорит,— их надо выводить, к хорошей жизни». А те — ну, варнаки, дети-то! И сам Ваня — чистое дитя... Был тут гармонист у нас, Славка Медников. Пришел к нему Ваня: продай гармошку! «Купи»,— говорит. А гармония та, я тебе скажу, рубля не стоила. Планки ломаные, меха протерлись, свищут, на выдохе голоса дребезжат. Но — тульская. Отдал Ваня Славке сто пиисят рублей в новых тогдашних деньгах, по сорок седьмому году. «Сам обучусь,— говорит,— и детишек выучу, артистами станут». Вот неделю пиликтат, месяц пиликтат... «Барыню» разучил. Надоело, видать, ребятишкам-то. Раз приходит с работы, а они сидят на крылечке и в эти штучки, свистульки, что внутри гармони, насвистывают — раскурочили музыку. Ваня смеется, всем рассказывает: мой-то что утворили... Смеется, а ведь сто пиисят рубликов да по тем временам деньги большие... Да. После он им лисапед из района привез, как сейчас говорят: кардан гнутый и семь восьмерок в колесе... Парнишки из того подержанного лисапеда на другой день уже коляску сделали, бегунки такие. Ваню запрягут, и он на манер жеребца их по деревне накатывает. Да. Смеялись над ним, вроде дурачок, а кто знал-то, каково мужику было?.. Настя одна... Сидим, бывало, вот так же именины у меня...

Учитель хлопнул себя по колену:

— Как же я не догадался! У вас, Николай Анкундинович, день рождения сегодня?

— Именины. Когда в церкви имя дали... — махнул рукой: ничего. И продолжил: — Да... Придет и давай мне: был бы у меня, Никола, киноаппарат, я бы все заснял, как и что есть... Чтобы никто не забыл дружка дружку, чтобы посмотреть, какие мы молодые были, какие тут речка да поля. Ты, говорит, хоть и кулацкого рода, Никола, но и тебя бы я заснял...

— Николай Анкундинович, — встал учитель, — погодите спать ложиться, я через минуту-другую приду...

— Спасибо, что зашел, — поднялся и старик, — я что хотел спросить-то: как бумага в розыск пишется? Я хочу найти Ваню... Знаю, что в Приморье уехал с детьми, а вот куда? Мудреное ли это дело? Он сам-то детдомовский, родных нет... Как искать?

— Сейчас я приду, — почти силком усаживая его на место, сказал учитель. — Приду — и все сделаем.

Вскоре Владимир Иванович вернулся, за ним в дверь вкатилась криволапая коричневая собака и кинулась обнюхивать углы. Не в силах сдержать юную улыбку, учитель полез за пазуху пальто и достал небольшую коричневую коробку.

— С днем рождения, — он был счастлив и доволен собой.

— Учтиво, — глухо, пряча глаза, сказал старик, — только расходы-то зачем? У учителя зарплата... А-а! — рассердился на себя старик: — Не то говорю. Спасибо, Владимир Иванович, — он рассмотрел запонки, поднося их поочередно к лампе: — Красиво-то как...

Володя заметил по трясущимся его рукам, что он сдерживает волнение.

Поздно ночью возвращался домой учитель. Благо дом хозяйки стоял через дорогу с потушенными огнями и незапертой дверью.

## АЛЕКСАНДР, КРЕПОСТНОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ

Прошлую ночь Александр не ночевал дома. Вечером после смены он встал во дворе и с полчаса стоял, глядя на свет в своих окнах. Одно в комнате — оранжевое от абажура, другое на кухне — голубое от занавесок. Окна как все другие. Лиза, конечно, дома на кухне: к его приходу горячий ужин всегда стоял на столе. Дверь открыл своим ключом, еще не зная, что сказать. Вообще он любил, чтобы ему открывала Лиза. «Здравствуй, котик», — обычно говорил Александр. Лиза скупно, насмурно улыбалась и говорила по-молодежному: «Чао, бамбино, чао».

Александр вошел и зачастил с порога:

— Слышала, котик? Ночью резкое похолодание до минус сорока — сорока трех! Штормовое предупреждение передали! Шторм, Лиза! Шторм, котик. Горячая вода есть?

Медлительная Лиза топталась в проеме кухонных дверей, смотрела на Александра строго, тщаь что-то вспомнить, но штормом из ее головы это «что-то» вышибло.

— Что за шторм еще? — Она ждала ответа, глядя, как муж разувается. Разувался он медленно, вникая в обстановку.

— Я говорю: горячая вода есть? А то, может, опять в котельной перекур... Кто их знает? А бриться надо? Мыться надо? Эх, жизнь шоферская...

Он ослабил напряжение, и Лиза вспомнила, что муж не ночевал дома.

— Ты...

— А то промерз, как... Ну-ка, Лиза, глянь, что я купил... — В одном валенке он промахнул к порогу, развернул кусок меш-

ковины в углу.— Полы-то летом будем красить? Будем! Запас — он не тает... А цвет! Ты глянь, котик, какой цвет! — Александр держал две жестяные банки, по одной на каждой ладони.— Цвет — первое дело...

Лиза снова забылась, кося на банки сурово и недоверчиво:

— Что за штуки? Краска, что ли?

Александр лучился, смеялся глазами, ртом:

— Краска, котик... Нитроэмаль...

Лиза подошла, взяла банку, понюхала через крышку. Поскребла ногтем этикетку и спросила, смягчившись:

— Нитра или ималь?..

— Нит-ро-э-маль,— терпеливо, как любимому ребенку, объяснял Александр.— Тут написано так. А цвет — желтый! Половой, значит...

— Дак ималь или нитра? — Лиза злилась, если что-то не понимала. После укуса энцефалитного клеща ее характер очень изменился.

Саня улыбался уже бесконечно долго:

— Котик, это ни-тро-э-маль! Все вместе! Эмаль на нитрооснове. Поняла?

— Фу ты, беда! — Лиза осмотрела банки, потом мужа. Глаза ее округлились и потемнели от гнева: — Будь ты трижды неладен! Ты скажи: нитра или ималь? Вот Вера-то Фадеева нитрой покрасила — заглядишься! А сверху — лак!

— А сверху лак,— поддакнул Александр.— Лак дает блеск. Сверк такой дает. Дае-ет!

Тут Лиза вспомнила и главную обиду:

— Ты где сегодня...

Но Александр уже весело скинул второй валенок и глянул на часы: надо торопиться.

— Иди, Лиза, жарь-парь, а я тебе такое расскажу — ума не приложишь...

Сброшенный валенок успокоил Лизу. Послушно и все же со свирепым лицом она продолжила жарить лещей. Их румяные корочки вызывали у Александра хорошие чувства, но нужно

было беспрестанно отвлекать Лизу от желания задать ему вопрос о ночлеге. Александр заговорил:

— Значит, стою я у переезда с грузом. Ну там еще Колькин Ленька...— Саня уже жевал хлеб с горчицей.

— Какой-то Колькин, Ленькин! А ну не хватай! Не дождешься никак!

— Ну, не знаешь, что ли, шофера из «скорой»? В пятом подъезде живет, на медсестре женатый!

— Однорукий!

— Кто однорукий? — Саня даже перестал жевать. У него в голове не укладывалось: как может быть одноруким шофер? И он пошел напролом, еще раз глянув на часы: — Ага! — сказал он, доставая из холодильника капусту: — Там убили...

— Кого? — Лиза отпрянула от сковороды и стала утирать передником руки.

— Однорукого, кого... Вот я шел, а его из ледника привезли! Баб понабежало — море! Твоя там... Эта... Которая мужика-то бьет? Кто?

— Фадеева,— Лиза уже мыла руки над кухонной раковинной и жалостливо глядела на Александра: живой, слава богу! — Хтой-то убил, Шура?

— Мне не доложили... Шпана... Кто ж еще?

— Ой! — кручинилась Лиза, накидывая шубу.— Однорукого... И у кого стыда хватает...

За ней захлопнулась дверь. Лиза любила ходить на похороны после перенесенной тяжелой болезни. Она там грустила и плакала.

Александр сгреб со стола несколько жареных подлещиков и, как был, в тапочках побежал к соседу по площадке Алексею. Не терпелось рассказать другу о событиях минувшей ночи, но как бы невзначай.

Алексей шил унты и сказал, даже не взглянув на гостя:

— Дверь не закрыта была или как?

— Не закрыта...— ответил Александр. Поглядел на шкуру.— Опять собаку убил. Это Тузик?

— Нет,— скривился Алексей,— это не нашего района... Бо-

бик-Шарик, на сухарик...— Он был маленьким и гордым. Тюбика крема для бритвы ему хватало на полгода.— А ты, Буян, иди к чертям...

— Уже на экспорт шьешь? — подначивал Александр. И вдруг выпалил: — А то я седня дома не ночевал... Расстроился!.. Надо как-то Лизу объехать, а завтра она позабудет. Ты ж ее знаешь...

Алексей поднял все же от работы лицо:

— И з-за борт ее брос-сает в близлежа-ащую волну-у! — И не бросая шитья, поинтересовался: — Где был-то?

— Любовь! — Александр улыбнулся и глянул на Алексея, как из-под очков.

— Родит же земля уродов...— мотнул головой тот и еще яростней принялся сучить дратву. Помолчали. Александр не выдержал первым.

— Подкалымить ездил в Верх-Тулу, шкаф повез. Ну, обратно еду в двенадцатом часу — девчонка голосует. Лет семнадцать. Алексей злобно засмеялся: ври, ври.

Александр продолжал:

— Нет, думаю, не на того напала, я тормозну, а из кустов — еще пяток гладиаторов! Но ближе подъезжаю — вижу: холодом ее пробрало, спасу нет. Эх, думаю! Чем я не мужик!..

— Ты-то? Да у тебя морда, как растоптанный беяш...— хмуро поддел Алексей, на что Александр ответил могучим приступом смеха.— Ну-ну? Взял ее, что ли? Тянешь тягуна...

— Взял. Едем. Справа — полная луна и она. Дрожит девчонка. Я говорю: куда тебе? До площади, говорит, Станиславского. Губки такие — мм! Ну и все остальное на месте. Меня тоже потряхивать начало. А почему, спрашиваю, ночью? С матерью, мол, поругались...

— Тебе сколько годков-то? — поинтересовался Алексей, хотя знал.— Сорок? Сорок! А ума — воз да маленькая тележка!

— Зато у тебя на головушку шапка не налазит — умный такой! — смеялся Александр, откинувшись головой к стене.

— Сидишь тут еще. Ты давай рассказывай свою сказку, а то мне скоро спать. Без сказки плохо...

— Лады. Там у нас в гараже фургон стоит на яме. Я фуфай-

чонок из раздевалки натаскал, соорудил все как надо. В гараже жарко: грейся, говорю, а я сейчас. Пошел к Симбирцеву, вахтеру, поесть взял. Прихожу. Она в фургончике лежит, притихла, глаза закрыты. Ну я ей: разденься, в гараже тепло.

Александр вдруг остановился, посерьезнел лицом впервые за этот вечер. Взгляд стал невидящим и уткнулся в стенную панель чуть выше склоненной над работой лохматой головы Алексея.

— Слышь, Лешка,— сказал он почти шепотом,— как их родители-то в город отпускают?.. На погибель-то?

— Закрой рот — ворона залетит! Родители... Им родители — тьфу! Мой, возьми: купи, бать, баян! На баян! Купи, бать, гитару! На гитару! А сел... Или я его бил мало? Лупил, как персидский коврик. Ну? Много они родителей слушают. Дурацкого кина насмотрятся — и давай им того же! Возьми моего: ты, говорит, меня плохо воспитывал! Да когда мне было воспитывать его? А нас кто воспитывал? Ломик да гаечный ключ, голод да болезни! Тебя вот, пентюха, взять... Женился на беспамятной, на восемь лет она тебя старше... Детей нет...

— У нас Валька!..

— Дак твоя она, что ли, Валька-то эта?

Александр не любил рассуждений, он снова улыбался:

— Что это тебя понесло юзом? Мне Валька все равно что родная... И внучка вот теперь, тоже моя... А насчет беспамятства Лизиного: я сам виноват. Повез-то ее на Кубовую я. Там ее клещ и тяпнул. Погуляли...

— Ну, арап... А что золото наценили, не ты виноват?..— исходил желчью Алексей. Губы его вело в кривую усмешку, а кулак, тянувший дратву, побелел в суставах.

Александр ответил:

— Кто ее знает... Насчет золота я не виноват...

— Нет? — переспросил Алексей.— А вот и виноват!

— Как так?

— А как мак... Не ездил бы, не калымил бы, а на производстве пахал как следует, оно, может, и покрепче бы жилось...

— А ты зачем Полкана убил, а? — Александр стал отнимать

шкурку у Алексея, дразня его. И тот облегченно сменил тему разговора, смеясь:

— Да уди, ты... Уди... Слушай, я те шило засажу под шкуру...

Послышался голос жены Алексея:

— Ну? Чего, как дети?..— Она прошла на кухню и поставила на стол авоську с продуктами.— Иди домой,— сказала Александру.— Не мешай мужику деньги зарабатывать...

— Прощай, и ничего не обещавай, и ничего не говори...— встал Александр.— Ну, бывайте!

Алексей пошел закрыть за ним дверь и в прихожей спросил шепотом:

— Ну а что с девчонкой?

Александр пожал плечами:

— Отогрелась — ушла... Дите еще, овечка...

Алексей радостно засмеялся, толкнул Александра ладошкой в лоб:

— Иди! Овечка...

...Когда пришла домой Лиза, Александр лежал в постели, притворяясь спящим. Лицо его было прикрыто листом бумаги, исписанным крупными буквами. Разъяренная обманом Лиза схватила этот лист и негромко прочла:

«Лиза — котик, Лиза — цвет, Лиза — розовый букет... Лизу-котика люблю. Не буди меня. Я сплю».





## СОДЕРЖАНИЕ

Поединок . . . . .	3
На почте зимой . . . . .	15
Тупичок . . . . .	26
Новый Актеон . . . . .	33
Игра в лото . . . . .	43
История с бритвой . . . . .	56
Поздно . . . . .	62
Ночное зрение . . . . .	71
Одиноко . . . . .	81
Александр, крепостной Елизаветы . . . . .	89

**Николай Александрович ШИПИЛОВ**

**НОЧНОЕ ЗРЕНИЕ**

Ответственный за выпуск **Б. Рябухин**

Редактор **Л. Левина**

Художественный редактор **Г. Комаров**

Технический редактор **Н. Александрова**

Корректоры **Л. Четыркина, В. Назарова**

Сдано в набор 07.08.85. Подписано в печать 09.12.85. А 13749. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,72. Учетно-изд. л. 4,7. Тираж 75 000 экз. Цена 30 коп. Издат. № 1576. Заказ 5—279.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42.

Пока они играли, мы, читатели, успели за незатейливыми шутками, веселыми, порой грубоватыми пререканиями играющих приязненно разглядеть, какие крутые, суровые судьбы у обитателей двора, какой естественной потребностью стало для них деликатно маскируемое душевное внимание друг к другу, как сложен и драматичен мир вроде бы в самых обыденных его проявлениях — терпкой, горящей вечерней, усталой землей, свежестью повеяло на нас.

Вообще герои Шипилова приходят в жизнь, кажется, лишь для того, чтобы, испив, так сказать, чашу страданий, перенеся множество опустошающих душу испытаний, доказать: несмотря ни на что, в сердце осталась доброта, и, значит, жив человек, не пропал, не сник под иссушающими ветрами.

Лик доброты, запечатленный в шипиловских рассказах, мне кажется, привлечет внимание читателей своей нежностью и свежестью письма.

**Вячеслав ШУГАЕВ**

30 коп.

Молодая гвардия

